



АББА КОВНЕР

КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ



АББА КОВНЕР

КНИГА

СВИДЕТЕЛЬСТВ

Абба Ковнер
Книга свидетельств

Абба Ковнер

КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1990

אבא קובנר
מגילות עדות

Abba Kovner
Scrolls of Testimony

Перевела с иврита *М. Улановская*
Редактор *М. Блинкова*
Оформление обложки *Т. Корнфельд*

Репринт с издания 1989 г.

ISBN 965-320-134-4

©

All rights reserved

כל הזכויות שמורות

לספרית-עליה

ת.ד. 4140 ירושלים

יוצא לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

OCR Давид Титиевский, октябрь 2021 г., Хайфа

Printed in Israel

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. <i>Шалом Лурия</i>	VII
КНИГА ПЕРВАЯ. <i>Прологи</i>	1
Даже тот, кому отрубили голову, не теряет надежды	13
Дневник Лео дер Юнге и одно письмо к Черне Моргенштерн	17
Третья слеза	30
КНИГА ВТОРАЯ. <i>На реках европейских</i> ...	35
Шауль уходит	37
Скитания Дворы из Калиша	48
Письма Шауля в никуда	51
Огненная осень. Еврейское братство	57
Возвращение Шауля	71
Подполье. Утверждать жизнь	90
Рассудительные люди	103
Люди или звери?	118
КНИГА ТРЕТЬЯ. <i>Пепел с неба</i>	141
Есть ли на свете Биркенау (пролог)	143
Песах в Седьмом блоке	144
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. <i>Дóма</i>	209
"Мы здесь!"	211
Марш смерти	231
"И пошли сыны Израилевы среди моря по суше"	231
Примечания	261

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדסטין - ספריה
מס. מלאי.....

ПРЕДИСЛОВИЕ

Абба Ковнер родился 14 марта 1918 г. в Севастополе, на берегу Черного моря. Но морской простор, пенящиеся валы, голубизна неба и многоголосый шум портового города не оставили отпечатка в памяти мальчика.

Настоящей родиной стал для Аббы Ковнера Вильно — город, который евреи называли литовским Иерусалимом. Абба Ковнер попал в Вильно в восьмилетнем возрасте, и его сразу захватила напряженная духовная жизнь еврейства, основанная на многовековой традиции, передававшейся из поколения в поколение.

На протяжении своей истории Вильно не раз испытывал бурное религиозное брожение. Носившиеся по миру идеи — от самых мрачных до самых радужных — сеяли семена в открытых для всего нового юных сердцах.

В Вильно существовало множество политических и культурных организаций и учреждений, школ, детских садов, рабочих союзов, культурных обществ и молодежных движений, отражавших широчайший диапазон идей и устремлений еврейского населения города. Брусчатые мостовые Вильно возвращали дух оптимистического идеализма и бунтарства. Над улочками города еще витала легендарная тень Виленского гаона рабби Элияху (1720—1797), как бы предостерегая от любых

уклонений с традиционного пути — пути *галахи**. А рядом развевались красные флаги — еврейскую молодежь воспламеняло самопожертвование борцов против царизма. Многие еврейские юноши и девушки присоединялись к различным потокам русского освободительного движения. Сионистское движение во всем многообразии его течений также нашло многочисленных приверженцев среди еврейской молодежи Вильно. Тяга к Эрец-Исраэль проявилась и в том, что на улицах города звучал живой разговорный иврит, причем в сефардийском произношении, непривычном для уха литовских евреев.

На иврите велось и преподавание в гимназии "Тарбут", где учился Абба Ковнер. В гимназические годы он вступил в молодежную организацию Ха-шомер ха-цаир** и за несколько лет стал одним из ее руководителей. В 1936 г. Абба Ковнер уже возглавляет Виленское отделение Ха-шомер ха-цаир, имя его приобретает известность среди сионистской молодежи Польши и Галиции.

В общественной работе проявились разнообразные способности юноши: он организовывал литературные вечера и молодежные праздники, расписывал стены, был заводилой в любых мероприятиях. Вся эта кипучая деятельность вдохновлялась мечтой об *алие**** в Эрец-Исраэль, о жизни в киббуце.

В сентябре 1939 г. разразилась мировая война,

* *Галаха* — нормативная часть иудаизма, регламентирующая религиозную, гражданскую и семейную жизнь евреев.

** Ха-шомер ха-цаир (Молодой страж) — крайне левое сионистское социалистическое молодежное движение, возникшее в 1916 г.; целью движения является подготовка еврейской молодежи к жизни и труду в киббуцах Эрец-Исраэль.

*** *Алия* (ивр.) — букв. "восхождение", репатриация евреев в Израиль.

Вильно оказался в зоне советского влияния. 19 сентября в город вступила Красная армия, и Вильно (именовавшийся теперь Вильнюс) стал столицей Литвы. В середине июня 1940 г. Литва вошла в состав Советского Союза.

Тем временем из оккупированной немцами Польши устремился на восток поток беженцев. С ним в Вильнюс попало множество участников различных молодежных сионистских организаций. Так образовался вильнюсский центр Ха-шомер ха-цаир, душой которого был Абба Ковнер, опубликовавший в газете центра свои первые стихотворения на иврите.

В этот период Ковнер начал учиться на факультете искусств Вильнюсского университета, а по ночам работал на фабрике детских игрушек.

Внезапно, точно извержение вулкана, началось фашистское нашествие. 24 июня 1941 г. германские войска вступили в Вильнюс. 60000 евреев оказались в капкане. Вскоре немцы начали планомерное и методичное уничтожение евреев.

Абба Ковнер находит убежище в доминиканском женском монастыре. В начале сентября 1941 г. уцелевших евреев Вильнюса согнали в гетто. Абба Ковнер, оставив монастырь, добровольно пришел в гетто и в 1942 г. стал одним из создателей Объединенной боевой организации — ФПО (Ферейнигте партизанер организацие). Деятельность этой организации подробно описана в книге Ружки Корчак "Пламя под пеплом"*.

За три недели до создания ФПО, 1 января 1942 г., Абба Ковнер написал свою первую боевую листовку:

"Мы не пойдем, как скот, на бойню!"

Впервые призыв к восстанию прозвучал в гетто.

* Эта книга вышла в русском переводе в издательстве "Библиотека Алия" в 1977 г.

С тех пор голос Аббы Ковнера не смолкал. Этот одинокий голос, отзываясь во многих сердцах, рождал силу, звал на борьбу.

Абба Ковнер с самого начала сопротивления входил в правление ФПО, а после того как погиб командир организации Ицик Виттенберг, он заменил его и оставался на этом посту до последних дней существования гетто. Когда же восстание было подавлено, он возглавил отход бойцов, сумевших по канализационным трубам выйти из города и добраться до леса, где скрывалось много партизан (сентябрь 1943 г.).

Затем Ковнер становится командиром соединения еврейских партизан "Некама" ("Мечь"). Трудно описать, сколько ужасов и лишений выпало на долю членов этого соединения, пока пришел долгожданный день победы. То была война — со всей ее жестокостью, страхом, приступами отчаяния и радостью внезапного успеха, война за самую жизнь, повседневные беды, необходимость принимать тяжелейшие решения, порой казавшиеся невозможными. Опыт тех незабываемых лет нашел отражение в поэме Аббы Ковнера "Пока не скроется свет".

В июле 1944 г. Вильнюс был освобожден Советской армией. Бежавшие из города жители стали возвращаться. В числе первых вернулись и еврейские партизаны во главе с Аббой Ковнером. В этот период он становится одним из создателей организации *Бриха**.

В 1945 г. Абба Ковнер нелегально приехал в подмандатную Палестину, где британские власти его арестовали и отправили в каирскую тюрьму.

Освободившись из тюрьмы, он вернулся в Эрец-Исраэль, вступил в киббуц Эйн ха-Хореш,

* *Бриха* (букв. "бегство") — подпольная организация, созданная в 1944—45 гг. в Восточной Европе для переправки евреев в Палестину.

женится на своей боевой подруге Витке, которая сражалась рядом с ним в вильнюсском гетто и в партизанском отряде. Жизнь как будто начала входить в нормальное русло, но душа поэта не находит покоя. Его преследует мысль о том, что в освобожденной или оккупированной союзниками Германии свободно ходят по земле убийцы миллионов евреев. Абба Ковнер даже предпринимает попытку вернуться в Европу — чтобы мстить. Но тут начинается Война за Независимость. В 1948 г. Аббу Ковнера назначают офицером, ответственным за воспитательную работу в только что созданной на юге страны дивизии "Гив'ати". Задача нового соединения — отбивать атаки египетских армий. Молодая страна напрягала все силы, чтобы устоять перед арабским вторжением. И "Боевой листок", который ежедневно выпускал Абба Ковнер, поднимал дух бойцов новорожденной израильской армии. Впоследствии Абба Ковнер опишет события Войны за Независимость в трилогии "Лицом к лицу" и в поэме "Расставание с югом".

После окончания войны Абба Ковнер возвращается в свой кибуц, где посвящает значительную часть времени литературной работе. Он создает ряд произведений, сделавших его одним из виднейших представителей израильской литературы. Аббу Ковнера избирают председателем Союза писателей Израиля, он удостоивается нескольких престижных литературных премий: премии Бялика, премии Бреннера, а в 1970 г. — высшей государственной награды, премии Израиля.

С начала 70-х годов Абба Ковнер с головой уходит в работу по созданию Музея диаспоры. Восемь лет жизни посвятил он разработке плана экспозиции, а последующие годы — воплощению его в жизнь. Основная задача заключалась в том, чтобы музейными средствами живо и ярко показать тот "мост", который всегда соединял евреев "Эрец-Исраэль" и диаспоры. "Народ, который

лишь цепляется за свое прошлое, — это умирающий народ. Но если евреи будут черпать в своем прошлом мудрость и любовь к национальному наследию, это даст им силы раскрыть ворота будущего”, — говорил Абба Ковнер. Созданный под его руководством Музей диаспоры уникален, это одно из крупнейших культурных достижений Израиля.

В последние годы жизни Абба Ковнер неутомимо продолжал свою многостороннюю деятельность: создавал новые художественные произведения, работал с издательствами, помогал развитию Музея диаспоры, много сил отдавал воспитанию молодежи в своем киббуце Эйн ха-Хореш. Его волновали самые различные вопросы, если они касались Израиля или еврейства вообще. В 1981 г. вышел в свет сборник публицистики Аббы Ковнера “На узком мосту. Размышления вслух”. В нем отразились глубина мысли и высота помыслов большого человека, художника и борца.

Последний свой бой он вел со смертельной болезнью. И здесь, как всегда, он боролся до самого конца. Незадолго до смерти в 1987 г. у Аббы Ковнера вышел в свет поэтический сборник “Салон Кейтеринг”, в который вошли стихи, написанные в нью-йоркской больнице. Одновременно писатель готовил к печати еще одну книгу стихов — “Стихи о Розе”, которая увидела свет уже после его кончины.

“Книга свидетельств” — последнее произведение Аббы Ковнера, над которым он работал много лет. Это, по сути, главная книга писателя: в ней из разрозненных фактов воссоздается трагическая картина уничтожения еврейского народа в оккупированной фашистами Европе и воспевается восстание против беспощадного врага.

Шалом Лурия

*Передайте об этом детям вашим; а
дети ваши пусть скажут своим детям, а
их дети – следующему роду*

(Иоэль 1:3)

КНИГА ПЕРВАЯ

ПРОЛОГИ

Книга эта не похожа на другие. Из других книг мы узнаем о том, что случилось с нашими отцами в прошлых поколениях. В этой книге говорится о том, что случилось с нашими отцами и с нами в поколении Аушвица.

Погибшие евреи говорят живущим сегодня:

Вы, не сумевшие нас спасти, склоните свой слух и сердце к нашему свидетельству, свидетельству, которое является памятью о жизни; постарайтесь понять, как страшно нам было умирать; постарайтесь постичь, что поддерживало наш дух в последние минуты.

Не принимайте это свидетельство как побуждение к ненависти. На реках европейских сидели мы и плакали в ожидании смерти^{1*}. В газовых камерах, даже там, помнили и думали мы о будущем — о вас. Найдется ли у вас свободная минута — подумать о нас, погибших безвинно?

СЧЕТ ВРЕМЕНИ ВСПЯТЬ, ИЛИ УТРАЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Бьет двенадцатый час

30 января 1933 года нашей эры. В ворота отеля

*Цифрами обозначены примечания в конце книги.

Кайзерхоф въезжает черный мерседес и направляется к апартаментам престарелого президента Германской республики фельдмаршала Гинденбурга. На заднем сиденье — Адольф Гитлер. Он входит в дом вождем национал-социалистической партии, партии люмпенов, а выходит — владыкой Германии. Ведущие газеты столицы помещают, со снимками на всю страницу, большой репортаж о ежегодном вечере журналистов, состоявшемся накануне в Берлине. Крупным планом — знаменитости города, веселые и разряженные, во фраках, вечерних платьях и норковых шубах, с бокалами шампанского в руках. В скрытых от чужих глаз и ушей салонах берлинцы потихоньку ругают прежде любимые газеты, а в это время за стенами домов, на улицах столицы, маршируют отряды штурмовиков. На головах — каски, мундиры украшены свастикой, реют знамена. Лавина течет к Бранденбургским воротам, вечерний мрак взрывается блеском факелов, дружным ревом глоток и вскидываньем рук.

Вскоре в одном из роскошных мраморных зданий соберется на чрезвычайное заседание Прусский государственный совет. Мэр города Альтоны, последнего оплота недолговечной веймарской демократии, встанет с места, подойдет к креслу главы коммунистической фракции и скажет шепотом своему коллеге и сопернику: "Товарищ Троглер! Двенадцатый час пробил! Ты видишь, что происходит. Не пора ли взяться за ум и действовать сообща?"

Троглер, интеллигент, блестящий оратор, опытный политик и вождь самой многочисленной из фракций, слегка откинет голову и, не поведя бровью, ответит: "Это абсолютно исключено, товарищ Бауэр! Нацисты победят и даже захватят власть недели на три-четыре, а потом все это кончится и весь рабочий класс пойдет за нами!"

Помутился разум вождей народа. Часы пробили полночь. Великий ужас покрыл землю.

Великий ужас покрыл землю, катастрофа еврейского народа была величайшей из всех, какие знала история человечества. В каждом веке и поколении взрываются злые инстинкты людей, буйствуют разрушительные силы; человеческая история переполнена кровью до краев — кровью покоренных племен в первобытные времена,

кровью народов, целиком вырезанных монголами, реками крови в эпоху средневековья, кровью, пролитой в религиозных войнах во имя Аллаха и его Пророка, кровью жертв крестьянских восстаний, кровью индейцев, стертых с лица земли просвещенными народами — испанцами, французами, англичанами и американцами, кровью вырезанных турками армян.

Реки крови превратились в море, и это кровавое море омывает мир, не прекращаются гражданские войны, революции и контрреволюции, мировые войны и войны между отдельными народами.

И все-таки ничего равного КАТАСТРОФЕ род человеческий не ведал. Нельзя сравнить с ней гонения и погромы, которые испытывал во все времена еврейский народ.

Катастрофа

не бунт подстрекаемой черни,
не месть голодных крестьян,
не религиозный фанатизм,
не социальная революция.

Гетто не было лагерем для военнопленных. И не от бомбежек горел в Аушвице целых четыре года уничтожавший человеческие тела огонь.

ВПЕРВЫЕ ЦЕЛЫЙ НАРОД был предан **УБИЙСТВУ ПО ПРИКАЗУ ПРАВИТЕЛЬСТВА**, которое организовало, детально разработало, финансировало и инспектировало беспрецедентную охоту на людей.

Охота эта шла зимой и летом, повсюду — от Атлантического океана до ущелий Кавказа, от Северного до Средиземного моря — не прекращаясь ни в праздники, ни в темноте, ни при свете, и участвовали в ней говорившие на всех языках, во всех странах, а жертвой был весь еврейский народ — мужчины, женщины, старики и дети, беременные, больные и здоровые — безо всякого исключения; и для достижения этой цели ничего не жалели.

Это планомерное уничтожение людей продолжалось безостановочно почти сто тысяч часов — 12 лет, 3 месяца и пять дней.

И не было еврейскому народу ни защиты, ни избавления, ни укрытия, ни спасения.

Став владыкой Германии, Гитлер пошел войной на евреев. Он ненавидел чехов, французов, англичан, не терпел русских, презирал поляков, глумился над бельгийцами, голландцами, итальянцами, относился свысока к американцам. Но безграничную ненависть питал он лишь к евреям. А ведь евреи вели себя в Чехии как чехи, в Венгрии как венгры, в Польше как поляки. Даже в России старались быть русскими. А в Германии просто считали себя настоящими немцами.

Гитлер не любил рабочих, преследовал социалистов, воевал с коммунистами; с отвращением относился к журналистам; не уважал писателей, издевался над искусством и демократией. Но евреев ненавидел ненавистью абсолютной. Ведь и в рядах пролетариата были евреи, много их было среди социалистов и коммунистов. Сыны Израиля выделялись и среди крупных банкиров, и вождей либералов, защитников республики и сторонников молодой демократии. Слишком многие писатели происходили от семени Авраама, а также — художники и мыслители — из тех, кто формировал в те годы германскую культуру и прославил ее в мире.

Презирал Гитлер и слабых. Презирал западные демократии, утратившие силу, и сверхдержавы, подавляющие своих малых союзников. Презирал и эти малые страны за то, что полагаются на бумажного тигра и мертвого льва. Но больше всех презирал евреев, у которых нет ни армии, ни государства, нет даже настоящего союзника в этом мире.

И простер над ними сеть тысячи рук — СС, и СА, и гестапо, и эйнзатцгрупп, и гитлерюгенда², и вермахта. А те натравили на евреев полицейские силы разных стран: "синюю полицию" в Польше, литовские особые группы — ипатингас — и подобные им в Латвии и Эстонии; вишистов во Франции; нацистов в Австрии и фашистов в Италии; банды "Железной гвардии" в Румынии, партию "Скрещенные стрелы" в Венгрии, усташей в Югославии. В Бельгии преследовали евреев сторонники Дегреля, в Скандинавии рыскали квислинги. В Северной Африке помогали гестапо посланцы иерусалимского муфтия³, намечая места для истребления евреев Магриба. Тысячи тунисских евреев были уже посланы в концлагеря.

Евреев загоняли в специальные поезда, и обреченные не знали — кому жить, а кому умирать. Сначала отделяли от прочих коммунистов; потом — социалистов разного толка; потом тех, кто был известен своими либеральными взглядами. А остальные все еще считали, что они в безопасности. Затем взяли государственных деятелей, являвшихся евреями на треть и на четверть, затем ветеранов кайзеровских войн еврейского происхождения. Потом пришла очередь ученых с мировым именем, писателей, журналистов и художников — тех, кто не успел покинуть страну или покончить с собой. Поймали и тех, кто сбежал из Германии, но недостаточно далеко.

Перед тем как запереть евреев за забором с вышкой, их поставили вне закона; в каждой из

оккупированных нацистами стран лишали евреев гражданских прав, запретили нанимать среди христиан прислугу и вступать в какой бы то ни было контакт с арийцами. Тогда же изгнали евреев из всех построенных ими или их предками мастерских и фабрик, отобрали у них золото, серебро и меха. Вынесли из гостиных ковры и картины — эти вещи начальство забирало себе. Перины и покрывала с кружевами и вензелями владельцев не постеснялись взять соседи. Изгнали евреев из их домов — бедных и богатых — всех подряд.

Так всех без разбора гнали их по дорогам — одних с непокрытой головой, других — в штраймлах⁴. И тех, кто застегивал кафтан на три пуговицы, как полагалось в одном хасидском дворе⁵, и тех, кто застегивал на четыре, как было принято в другом. И когда столичные жители в жестких амстердамских шляпах видели над толпой изгнанников из Будапешта настоящие цилиндры, они не смеялись и не удивлялись, потому что уже понимали: нечто страшное ожидало впереди их всех — и тех, у кого на голове модная шляпа, и тех, кто носил традиционную меховую шапку.

Когда евреев стали хватать на улицах Парижа, немцы в первое время с трудом отличали евреев от французов. Но вскоре в городах и в деревнях нашлось достаточно французов, которые поспешили оккупантам на помощь и научили эсэсовцев отличать берет на голове чистокровного француза от берета, надвинутого на лоб пасынка Франции.

Из деревень Фракии, из пограничных селений Литвы, из карпатских хуторов вывезли евреев в грубых, вымазанных землей сапогах. Тех, кто работал от восхода до заката солнца, кто издавна владел правом вырубать лес и сплавливать по Дунаю бревна плотами. Не стало в Европе евреев-крестьян, будто их и не бывало.

Пришел час тех, кто говорил на чистом немецком

языке, — интеллигенции Праги и Вены. Они выделялись в толпе модными пальто с пелериной и бархатным кантом, шевровыми ботинками, замшевыми и лаковыми туфлями.

Люди искусства шли в мягких фетровых, слегка сдвинутых на бок шляпах. И когда поднимались по ступенькам в вагоны для скота, их лица выражали скорее удивление, чем страх. Хотя шла война — с русскими на востоке и с союзниками на западе — и для переброски войск необходим был транспорт, но для депортации евреев было предоставлено достаточно вагонов и освобождены все пути. Вооруженный конвой сопровождал транспорт, и поезда не простаивали ни ночью, ни днем.

В тот час, когда в городах Италии забирали евреев из семейных особняков, большая часть общины еще верила, что все происходящее — только легкое облако, которое вот-вот рассеется. Лишь немногие чувствовали, что родина предала их в самый страшный час. И когда поезд с юго-запада пересекался с поездом с юго-востока, не знали вывозимые из Флоренции, что на безвестной узловой станции они встретились с братьями из Загреба; в поезде, где говорили по-венгерски, слышался вдруг разговор изгнанников из Голландии и Бельгии. А как-то на боковой ветке, в стороне от населенного пункта, до рабочих донесли из вагонов загадочные слова:

— Вестерборк?

— Дранси?

— Романеште?⁶

Все поезда шли в Польшу.

После того, как евреев выгнали из дома и лишили имущества, их вывезли в гетто и в концлагеря, где заставили тяжело работать за пустую похлебку. Под конец забрали чемоданы, обувь и остатки одежды, привезенной из дому, а женщин обрили.

Потом сожгли их трупы. Из рта мертвецов старательно вырвали золотые зубы и коронки, упаковали их в ящики, приложили накладную с кодовым названием груза, указанием веса нетто, порядковым номером.

А в сердцах обреченных все еще жила надежда. С утра они благословляли новый день, ежечасно ожидая чуда. Надежда спасала от полного отчаяния, но одновременно лишала воли к борьбе.

Все время они ждали помощи... Откуда? Соседи, рядом с которыми их семьи жили из поколения в поколение, оказались чаще всего равнодушными наблюдателями. Бывало и так, что там, где они родились и выросли, в их родном городе, их окружала открытая вражда. Постепенно евреи поняли, что миллиард, два миллиарда людей, весь мир забыл о них, еще живых. Бомбардировщик не вылетит ради них с аэродрома. Отряд бойцов не выступит на день раньше, чтобы прорвать фронт и спасти их из лагерей смерти — ни в Эстонии, ни на подступах к Будапешту, ни для спасения уцелевших в гетто Лодзи. Тысячи героических дел совершено на земле Европы в соответствии с военными планами свободных стран. Только для спасения евреев не проявились ни отвага, ни военный талант, ни государственные соображения.

Некоторые из молодых пытались скрыться. Отважные брались за оружие. Многие уходили в леса к партизанам. "Стой! Кто идет?" — "Свои!"⁷ Одних примут в отряд, других прогонят. Многие из беглецов сожженного гетто погибли на лесных тропах — от голода, от немецких пуль, а также от руки "братьев по оружию".

Когда беглецы приходили в деревню и просили убежища, хотя бы на одну ночь, крестьяне, если не было под рукой ружья, расправлялись с ними вилами и топором. Охота на евреев продолжалась и в лесах.

Так шли по земле люди, лишенные возможности объединиться для борьбы. Шли по улицам городов, среди тех, кого считали друзьями и добрыми знакомыми, встречая соседей, выросших в одном с ними дворе, компаньонов по бизнесу, школьных и университетских друзей, с которыми всегда понимали друг друга с полуслова. Только одно отличало их — раса!

Их лишили права на жизнь не потому, что они были плохими гражданами страны, которую считали родиной, не за убеждения и — на этот раз — не за веру. А лишь за то, что родились евреями. И еще до того, как их повезли поезда, над ними был произнесен приговор — жить в безграничном унижении и умереть в отчаянии.

Но разве нельзя было предвидеть беду, подготовиться к ней? Многие не понимали, что беда — общая. Даже у ворот Аушвица не постигли гóлоса еврейской судьбы — единой для всех. Иначе и не могло быть, потому что оторвались от корней и по своей или отцовской воле вышли из еврейства. Мало кто помнил, как выглядят еврейские буквы. И когда раздался стук в дверь, не поверили своим ушам... Ведь, отказавшись с завидным энтузиазмом от еврейства, они стали почти немцами! Неужели и их все это касается?..

В Терезиенштадт вместе с прочими берлинцами еврейского происхождения привезли одну старую даму. Немцы обращались с ней подчеркнуто вежливо, поскольку она была правнучкой композитора Листа и племянницей Герхарда Гауптмана. Несмотря на это, старуха очень страдала. Рыдая в своей каморке, она все повторяла: "Ах, если бы Герхард знал, как со мной поступают!" А узники Терезиенштадта смотрели на нее с жалостью, ибо тяжело жить в тени смерти, но еще тяжелее — в мире теней.

Нацисты собирались осуществить окончательное решение тотально: истребить еврейскую нацию на

земле без остатка. Не по своей вине они не довели дело до конца. Ведь нацистам недостаточно было убивать, уничтожать евреев, всячески унижать их и мучить. Надо было заставить их самих уверовать: они настолько презренны, что жизнь их ничего не стоит, а смерть лишена смысла.

Но убийцы не учли, что у евреев были воспитатели и учителя. Еще до разрушения Храма иерусалимские мудрецы объявили: следует учить каждого сына Израиля. И опередили в том большинство народов на тысячу пятьсот лет. С тех пор каждый еврейский ребенок с трех лет начинал учиться. И не было для еврейской семьи идеала заманчивей, чем дать детям образование. Не прекратились занятия и в стенах гетто. А учителями были те же, кто учил в разгромленной школе, воспитателями — молодые люди, готовившиеся к жизни в Эрец-Исраэль. Они тайно создавали в гетто классы, добывали мел, тетрадки и свечи. Только теперь они стремились не просто передать ученикам свои знания, но дать им духовную опору. Спокойно и упорно пытались они научить испуганную душу главному: находить смысл в еврейской судьбе даже на пороге смерти.

Им некогда было ходить на собрания, они не получали циркуляров от Министерства просвещения. Но, словно по единому плану, возникли нелегальные школы в стенах гетто Вильно и в лагере уничтожения Бухенвальде. Они появились в лагерях беженцев в Германии и в лагере для интернированных на Кипре. Как бы ни были учителя разобщены и разбросаны, но на потребность момента откликнулись мгновенно. Так поступили Ицхак Каценельсон, Имануэль Рингельблюм и многие их товарищи в Варшавском гетто. Когда одного из них посылали на смерть, на его место приходил другой. Учителя иврита учили на иврите, идишисты учили на идише, а те, кто пришли из

частных школ с преподаванием на языке государства, учили по-польски.

Учителя Моргенштерна немцы забрали из гетто не за то, что он вел семинар для учителей, а за то, что у него не было желтого "шайна"⁸. В тот же день взяли и его единственную дочь Черну. Дул резкий осенний ветер, отец и дочь стояли у ворот, взявшись под руки, пока их не развела рука в кожаной перчатке.

ДАЖЕ ТОТ, КОМУ ОТРУБИЛИ ГОЛОВУ, НЕ ТЕРЯЕТ НАДЕЖДЫ

Динслакен, 18 августа 1935

Дорогой сын!

Повезло тебе — ты сейчас не в Германии. Но знать, что творится на родине, тебе надо. Нашего соседа, доктора Оскара Хермана, уволили с работы. Тридцать лет этот человек трудился на благо города. Он ведь был директором гимназии имени Вильгельма, организатором известных всей стране профессиональных курсов, подготовил тысячи молодых людей, евреев и неевреев, к полноценной счастливой жизни. К тому же он замечательный ученый и, хотя родился в русской Галиции, но языком овладел прекрасно, и стиль, которым написано множество его книг по ботанике, — великолепен. Поэтому он редактировал и нашу знаменитую энциклопедию по естественным наукам. По взглядам доктор Херман был социалистом, но ни в какой партии не состоял.

Во время мировой войны он потерял ногу, если не ошибаюсь, в битве при Танненберге. И вот недавно какой-то хулиган заорал на доктора в трамвае: "Грязный еврей! Ты обязан уступить

место любому немцу, инвалиду и не инвалиду!” — и выбросил его пинком сапога из трамвая. Счастье, что трамвай замедлил ход перед остановкой. Оскар Херман постеснялся рассказать об этом жене, а грязь на пальто объяснил тем, что случайно упал. Боже, а мы-то в какой грязи сидим!

С любовью,

твой отец.

Динслакен, вторник, 8 ноября 1938
Дорогой сын!

Ко мне в кабинет проник посторонний. Я сразу понял, что он еврей. Он сказал: ”Я — глава дюссельдорфской общины, ночевал на вокзале в Гельзенкирхен. Пожалуйста, пустите меня ненадолго в Сиротский дом. Может быть, я потом найду жилье. Везде хватают евреев. Жгут синагоги”.

Я слушал его со все возрастающим страхом. Не успел ответить, как он отпрянул, крикнул надтреснутым голосом: ”Нет, не зайду! В этом доме тоже опасно!” и скрылся — улица была в густом тумане. Больше я его не видел.

Звонят в дверь. Продолжу завтра.

Твой отец.

Дорогой сын!

Каких усилий стоило мне не потерять самообладания! Но зато удалось избежать паники среди детей и воспитателей. Я решил подготовить детей к тому, что должно случиться. Вечером, в половине восьмого, собрал 46 человек, в том числе 32 воспитанника, в столовой и сообщил им коротко и сухо: ”Вчера, как вам известно, был убит сотрудник немецкого посольства фон Рат. Ответ-

ственными за убийство считают евреев. На евреях выместят теперешнюю политическую напряженность; несомненно, что эта напряженность в ближайшее время достигнет наибольшей остроты. Боюсь, что для немецких евреев настали дни, хуже которых не было со времен средневековья. Будьте сильны духом и уповайте на Господа”.

Не успел я кончить, как снаружи послышалось хриплое пение проходившего мимо отряда штурмовиков. Вскоре я услышал, как помощник воспитателя, молодой, недавно принятый на работу парень, напевает ”Хорста Весселя”⁹. ”Это что такое?!” — спросил я, потрясенный. ”Красивая песня, герр профессор!”

Я приказал всем подняться наверх, запретил открывать входную дверь и велел подчиняться только мне.

В 9.30 у входа в Сиротский дом раздался звонок. Я открыл дверь. Оттолкнув меня, в дом ворвались человек пятьдесят, кинулись в столовую и стали крушить все подряд.

Сверху слышались испуганные детские голоса. ”Дети, немедленно — на улицу!” — крикнул я, нарушая указания гестапо. Я надеялся, что в общественном месте будет не так опасно. Дети с похвальной поспешностью спустились с черной лестницы, многие без шапок и даже без пальто, несмотря на холод и сырость. Я присоединился к ним и поспешил вывести их на шумный перекресток возле мэрии. Напротив стояли с десяток полицейских. Я кинулся к ним в надежде на помощь. Мой хороший знакомый, офицер полиции Фрайман шикнул на толпу и крикнул мне: ”Не рассчитывайте на защиту! Евреям защиты не будет! Живо уберите отсюда со своими гаденышами!” Полицейские преградили нам путь, толкая назад. ”Так убейте меня вместе с детьми, чтобы кончить этот кошмар!” — крикнул я Фрайману. ”Не торопитесь”, — ответил он с циничной усмешкой. Он загнал

детей на школьный двор и приказал оставаться на месте. Мы смотрели, как планомерно, под присмотром полиции разрушают наш дом. Через стенные проломы, там, где прежде были окна и двери, швыряли кровати, столы, шкафы, обломки пианино. Я видел, как полетел мой патефон.

Тем временем возле дома столпились сотни людей, в том числе наши поставщики, рабочие мастерских и просто знакомые.

Они наблюдали за происходящим совершенно равнодушно.

В 10.15 воздух прорезал звук сирены. Сейчас же над крышей показался густой дым — горела большая синагога. Только когда взмыли в небо мощные языки пламени, прибыли пожарники, чтобы спасти дома христиан, на которые мог перекинуться пожар.

Я не заметил, как на нашем дворе собрались евреи-беженцы с улиц, близких к сгоревшей синагоге. В основном это были легко одетые женщины. Но попадались и мужчины, которым пока удалось избежать ареста. Сейчас им пришлось бросить свои дома и собраться во дворе школы.

“Что вы смотрите на этих унтерменшей?”¹⁰ — закричал какой-то военный, разгоняя толпу любопытных.

Наша “семья” увеличилась на 90 человек. Нас собрали в одном из залов школы. Запретили выходить. Вскоре объявили, что всех мужчин до 60-ти лет отправляют в Дахау. Детьми займутся позже.

Дорогой сын!

Не уверен, что ты помнишь мальчика Лео с продолговатым лицом и удивительно высоким лбом. Я прозвал его Лео дер Юнге — Лео Младший, так как верил, что этот ребенок пойдет

далеко, — понятно, я имел в виду не Троцкого, а Леона Блюма. Его взяли с первой группой.

Но уж господина Гуго Козна ты точно помнишь. На всех торжественных заседаниях его усаживали за президентский стол — ведь только у него в нашем городе был Железный крест первой степени, полученный за храбрость на войне. Он шагал во главе отправляемых в Дахау и гордо нес на подушке свой орден. "Еврейская свинья, ты где украл орден?" — крикнул ээсовец и смахнул с его рук орден вместе с подушкой. К несчастью, Железный крест угодил прямо в нос штурмбанфюреру, и он раскричался: "Бунт! Еврейская сволочь бунтует!" На головы посыпались дубинки и плети. Лицо старого Гуго Козна залилось кровью. Но он продолжал шагать, будто на военном параде. Был серый день, все кругом — какое-то унылое, безжизненное. В тот вечер я попробовал впервые в жизни выпить. В наши окна бился крик. Сын, все это происходит не в ночном кошмаре. Все это происходит в действительности, на земле щедрой и доброй Германии...

С любовью,

твой отец.

ДНЕВНИК ЛЕО ДЕР ЮНГЕ И ОДНО ПИСЬМО К ЧЕРНЕ МОРГЕНШТЕРН

Надпись на титульном листе:

Я, Лео дер Юнге¹¹, работал посыльным фирмы "Клайн унд Кербер" и здесь, на складе, спрятал эту тетрадь. Нашедшего прошу передать ее по адресу: Ч. Моргенштерн, ул. Шопена, 3, город Вильно, страна Польша. Или: Эрику Бедеру, где-то в Палестине. Незнакомца благодарю.

Вена, 3 марта 1938.

Лист 1

Я, Лео дер Юнге, содержался в Сиротском доме в Динслакене, в Германии. Никогда не думал вести дневник. Но когда мне попалась эта толстая тетрадь с медной пряжкой, я вспомнил о дневнике моей двоюродной сестры Черны. Когда она приезжала к нам в гости, она каждый день сидела у окна перед тетрадью в синем бархатном переплете и заносила туда все происшедшее.

Я не понимал, что особенного может происходить у девятилетней девочки, и спросил Черну, не собирается ли она стать писательницей. Она улыбнулась и ответила: "Я уже стала". Мне было тогда пять лет. Это было наше последнее лето в Берлине. Отец сказал мне, что нам придется переехать "в маленький, но симпатичный городок". Я плакал. А сейчас мне очень хочется записывать все, что происходит, только не знаю, с чего начать. .

Лист 2

Настоящее мое имя Лео-Арье Моргенштерн. Но с тех пор, как я появился в Динслакене, отзываюсь на имя Лео дер Юнге. Потому что в Доме было трое мальчиков по имени Лео. Один, Лео Штик, мальчик примерно моего возраста, с прыщавым, хитрым лицом. Когда я попал в Динслакен и был там новеньким, он стал издеваться надо мной, потому что жил там гораздо раньше меня. И вообще он — мастер на злые выдумки, поэтому его и прозвали Лео-Штик¹². А королем Дома был Лео дер Гроссе¹³. Никто не знал, откуда он явился, в классе он был на голову выше всех учеников, и над его верхней губой уже пробивался рыжеватый пушок. Его все очень уважали. Однажды я помог ему решить задачу на экзамене по математике. Он был так восхищен, что назвал меня "профессор Эйнштейн" и взял под свою защиту. Не было в Динслакене человека

счастливее меня. Но тут пришел наш воспитатель доктор Мартен и строго запретил звать меня "профессор Эйнштейн", поскольку, как он сказал, в наше время еврейскому ребенку не следует слишком заноситься. Но моя главная мечта — быть, когда вырасту, таким, как наш чемпион по бегу Лео дер Гроссе.

Лист 3

В округе хозяйничали хулиганы из "Стального шлема"¹⁴, но наши учителя пытались сохранять в Доме атмосферу покоя и благополучия. В особенности старался наш директор, доктор Мартен. Он сам теперь ходил с нами на прогулки, и прохожие часто приподымали шляпы, приветствуя пожилого воспитателя, который, со своим старомодным моноклем, выступал гордо и независимо, как гусь впереди гусят. Господин Мартен не скрывал симпатии ко мне. Он хлопотал перед профессором Херманом, чтобы тот взял меня на будущий год к себе в гимназию, а когда последний раз приезжал к нам районный инспектор, я краем уха слышал, как доктор Мартен сказал, показывая на меня: "Этот мальчик с высоким лбом будет знаменитым человеком". Потому он и посоветовал мне, после того как у нас побывали молодчики из крипо, переехать, пока не пройдет опасность, в Вену. Сам он после посещения двух крипо¹⁵ дрожал от негодования.

Лист 4

Мне было 6 лет, когда нацисты пришли к власти. Я видел из окна их пышные шествия. Мне нравилось смотреть по вечерам на их парады с факелами и развевающимися на ветру знаменами. Я не понимал, почему мне нельзя, как другим ученикам, носить форменную рубашку с кожаным ремнем. Хотя я знал, что я еврей, и поэтому мне, как и четырем другим еврейским детям, разрешали

не писать в субботу. Я часто бывал у моих товарищей-христиан, но никогда не слышал, чтобы они плохо о нас говорили. Так было до той ночи, когда с другого конца города, где жили еврей-красильщики, не раздались крики. На следующий день Отто Райхер пришел в школу с окровавленным бинтом на голове. Он был очень бледен, но наш любимый воспитатель господин Гаер нас успокоил, объяснив, что погром устроили не местные жители, а приезжие хулиганы, и что полиция как следует наказала их. Одновременно господин Гаер объявил, что он нас покидает, потому что его новая должность требует от него "всего времени и всех сил". Я спросил его, что это за должность, и господин Гаер ответил, что он назначен главой нацистской партии в городе. Потом во время "Хрустальной ночи"¹⁶ он командовал разрушением Сиротского дома, как написал мне Отто. От него же я узнал и о случае с Лео дер Гроссе. Пришел в Дом новый учитель и представился: "Меня зовут Левин, но я не из моисеева племени". С задней парты раздался голос: "Слава Богу, вот и у нас в школе появился осел". Это был голос Лео дер Гроссе. Учитель приказал Лео подойти к кафедре и отвесил ему пощечину. Тот без колебаний пощечину вернул. (Позднейшая приписка карандашом: "Из того же источника: после Хрустальной ночи Лео дер Гроссе исчез".)

Лист 5

Я не люблю дядю Артура, да простит меня Бог за неблагодарность. Ведь это он после смерти отца устроил меня в Сиротский дом в Динслакене и заботился обо мне. Дядя Артур живет в Вене и происходит из старожилов Альтоны. Тетя Рита — сестра моего отца. Она мне рассказала, что отец родился в России и когда эмигрировал, то по дороге в Германию получил польское гражданство. Он работал помощником аптекаря в городе, и те,

кто не видели его в аптеке, знали его как добровольца-пожарника. Отец погиб во время большого пожара на Блюменплац, спасая старуху и ее кошку. Сам начальник городского совета произнес на могиле отца речь и сказал, что он — образец настоящего гражданина. Дядя Артур считал, что со стороны господина Мартена было глупо впадать в панику из-за каких-то двух крипо. Откуда происходит моя мать, я не знаю. Только один раз отец повел меня к ней на могилу в Вайсензее в Берлине. Он прочел там каддиш и сказал, что скоро мы из Берлина уедем, поэтому пришли попрощаться с мамой. Тогда я спросил отца: "Папа, а почему я не помню маму?" От ответил: "Потому что она умерла, когда ты родился". Я не понял, и он мне объяснил. После этого меня днем и ночью преследовали ужасные картины. Я видел во сне, что я, как щупальцами спрут, обвил руками шею мамы. Когда хоронили отца, тетя Рита меня обняла и сказала: "Теперь ты, бедняжка, остался круглым сиротой". Я спросил, что такое круглый сирота, и она ответила: "Это тот, у кого нет никого в мире". Я не понял, почему я круглый сирота, ведь у меня еще остались тетя Рита и дядя Артур.

Лист 6

Вот что случилось с еврейским депутатом мэрии и с раввином Вены. Я видел, как депутат с женой шли по Темпельгассе, нарядные, как в субботу. Возле здания общины стояла вооруженная стража. Жена потянула депутата за рукав, но было поздно: ему велели войти в дом, а жену вытолкали за ворота. Через несколько минут он вышел с ведром и тряпкой, и ему приказали мыть во дворе асфальт. Он замешкался и получил пинком под зад. Упал, но тут же приподнялся, стал на четвереньки и начал, как было приказано, мыть асфальт. У ворот собралась толпа. Одни

поспешили удалиться, другие, наоборот, выкрикивали что-то одобрительное. Потом из дому вывели семидесятилетнего старика, закутанного в талес¹⁷. Ему тоже дали ведро и тряпку. Старик сам стал на четвереньки рядом с депутатом и сказал ему: "Доброе утро, господин депутат". Тот ответил: "Доброе утро, господин раввин".

Гитлеровцу это не понравилось, он наступил ногой на талес раввина. Обнажилась голова с филактериями¹⁸ на лбу. Послышались негромкие возгласы удивления и смешки. У меня перехватило в горле. Нацист наклонился и спросил раввина: "Ну, рабби, вы довольны?" Раввин, продолжая усердно тереть асфальт, поднял на минуту голову и ответил: "Главное, чтобы был доволен наш Отец Небесный, я ведь только его слуга".

За углом жена депутата прислонилась к дереву и, дрожа, кусала платок. "Фрау, — шепнул я ей, — ваш муж жив, на нем нет крови". "На нем нет крови?" — переспросила она и, обняв меня, зарыдала.

Лист 7

В кафе Раппопорта тайком распределяют помощь беженцам. Я пошел туда, но попросить денег не хватило смелости. Я хочу снять угол и уйти от дяди. Меня злит, что он не поверил моему рассказу о том, что было во дворе общины. Дядя Артур обругал меня: я, мол, распускаю глупые слухи, "как все эти беженцы". Откуда я, например, знаю, что это были депутат и раввин, а не просто два еврея? А я ведь ясно слышал, как они друг к другу обращались, описал, как они выглядели, а ему всего этого мало. На работе только и разговоров, что об этом случае, и дядя поэтому еще больше сердится.

Дядя работает бухгалтером у "Клайн унд Кербер", а я работаю там посыльным. На лестнице у черного хода мы встречаемся с Эриком и

разговариваем обо всем. Эрик Бедер — мой новый друг, он собирается в Амстердам, где готовят халуцим¹⁹. Вчера мы с ним ходили на Кайзерштрассе, 42, надеясь попасть в списки. Но чиновники Палестинского центра заявили, что я — несовершеннолетний. У отца Эрика есть голландский паспорт, Эрик убеждает его переехать, пока не поздно, всей семьей в Амстердам. Эрика называют в семье "возмутителем спокойствия" и запрещают упоминать о голландском паспорте. Из Вильно пришла открытка от дяди Моргенштерна. Он спрашивает обо мне. О Черне — ни слова. В Польше нет Гитлера, но лютые антисемиты есть. Он спрашивает, не хочу ли я приехать к нему. Фирма "Клайн унд Кербер" уже записана на имя арийского совладельца, но ее настоящие хозяева — Клайны. Мы с Эриком встречаемся по нескольку раз в день у черного хода. Главный вход для нас закрыт "из соображений безопасности". Эрик сказал, что взрослые боятся правды и теряются иногда больше, чем дети.

Лист 8

Господина Клайна арестовали и отправили в Дахау. Дядя Артур, вернувшись с работы, был бледен и растерян. Я слышал, как он сообщил новость тете и потом все повторял: "За что могли арестовать такого приличного человека, как господин Клайн?" Удивляюсь дяде Артуру с его вопросами. В Дахау отправили еще многих, в том числе — хозяина магазина колониальных товаров. Я замечаю, что тетя Рита последние дни как-то странно ведет себя. Закутывается, выходя из дому, в большой, пропахший нафталином платок и смотрит по сторонам — не следят ли за ней. Я хотел ее проводить, но она наотрез отказалась. Вчера что-то выпало у нее из-под платка на пол. Оказалось — серебряный подсвечник. Тетя взяла с меня слово, что я никому, даже

дяде, ничего не скажу, и быстро вышла. Я шел за ней до площади и видел, как она вошла в дом, где живут одни христиане. Тетя Рита никогда ничего не делала по секрету от дяди, поэтому я очень удивился. Она даже не возразила дяде, когда он сперва намекнул, а потом сказал прямо, что для меня лучше вернуться в Сиротский дом в Динслакене. В смысле денег я им не в тягость — на хлеб я зарабатываю, и они пока еще не нуждаются. Что-то другое беспокоит дядю. Вот уж не думал, что и в этом доме поселится страх.

Лист 9

Дядя Артур живет в Вене 20 лет. Он, бывало, с гордостью рассказывал о своем предке, поставщике кронпринца. Дядя восхищается великой немецкой культурой, его родственники в Альтоне и в Берлине чувствуют себя ответственными за духовное наследие народа, который даже не считает их гражданами своей страны. Я видел, как дядя проходит мимо афишного столба и украдкой поглядывает на заголовки ежедневных приказов. От упоминаний о беженцах он отмахивается и возмущенно шикает на собеседника. Даже собственную жену обвиняет в том, что она "идет на поводу у беженцев", распространяя зловещие слухи. Беженцами или ост-юден называют галицийских евреев, поселившихся здесь в конце войны, среди них — и наши родственники, живущие на Гренадиштрассе, в районе бедняков. В доме дяди я никогда не видел никого из них. Все приказы властей, твердит дядя, касаются только ост-юден. Случайно я нашел в корзине старую газету и прочел в редакционной статье призыв — очистить немецкую цивилизацию от еврейских паразитов. Я спросил дядю, идет ли здесь речь об ост-юден. Он упрекнул меня, сказав, что я "роюсь в мусоре". Стыд и гордость не позволяют ему останавливаться вместе с прочими

жителями у афишных столбов. Он идет туда по вечерам один и узнает о новых притеснениях и опасностях.

Лист 10, 22 мая

Вместе с другими служащими фирмы меня пригласили в большой зал в связи с предстоящим освобождением господина Клайна из Дахау. Заместитель инспектора полиции лично явился сообщить госпоже Клайн, что его неустанные хлопоты, наконец, увенчались успехом и что на этой неделе ее муж вернется.

В глазах госпожи Клайн, беспрерывно обивавшей все пороги и стучавшейся во все двери в поисках справедливости, стояли слезы. Присутствовавшие подходили к ней по очереди и пожимали руку.

Нам с Эриком поручили доставить жене заместителя инспектора полиции скромный подарок к началу сезона — норковую шубу в нарядной коробке. На обратном пути мы увидели на углу Марияхилферштрассе толпу. Еврей лет сорока схватился руками за разбитую в кровь голову. Его выбросили на ходу из трамвая. Я решил не рассказывать об этом дяде.

Наконец-то я снял комнатку в седьмом округе.

Лист 11, 26 мая

Обыск в нашем округе. Меня не было дома. Избивали на улице, забирали украшения и другие ценности. Унесли ключи от богатых квартир. Госпожа Клайн получила по почте извещение — явиться за урной с прахом мужа, умершего в Дахау от разрыва сердца, и заплатить 10 марок за перевозку праха. Госпожа Клайн упала в обморок, и работа в фирме остановилась. Все были потрясены. За день до этого такое же сообщение получила хозяйка магазина пряностей. Кто-то из служащих всплеснул руками: "Чтобы такое случи-

лось! Хуже уже ничего не может быть!”

Лист 11, 27 мая

Эрик вместе с группой из тридцати халуцим уехал в Амстердам! Сейчас уже поздно. Прощаться пришла масса народу. Отец Эрика не пришел и не позволил другим членам семьи прийти на вокзал. "Не надо будить рошоим", — заявил он. Я спросил, что значит "будить рошоим", и он ответил: "Не следует привлекать внимание дурных людей". Семья оплакивает Эрика, будто он ушел на войну. Эрик обещал мне помочь. А пока я стоял на вокзале и плакал.

Лист 12, июнь 1938 года

Адвокату Г. удалось освободиться из Дахау, дав взятку одному чиновнику. Он видел, как из шеренги наказанных заключенных вывели господин Клайна и при свете прожекторов закололи насмерть. Дядю Артура высылают, его знакомых из других округов тоже, среди них — известных общественных деятелей. Дядя считает, что в отношении него произошла ошибка.

Июль 1938 года

Перед высылкой дядя лег на операцию в связи с переломом. Я его навесил и увидел в больнице многих уважаемых евреев, например — доктора Оскара Гринбойма. Все они, как и дядя, ждали перед высылкой операции в связи с переломами. В тот день в больнице оказалось много покалеченных евреев, выброшенных из трамваев или избитых на улице.

Лист 13, 10 ноября 1938 года

Ходил к родителям Эрика за его письмом. Поразились, что я пришел в такой день, и не позволили вернуться домой в мой седьмой округ. У них все время звонил телефон. Друзья спраши-

вали, как дела. На Вазегассе произошел погром. С Нолингассе звонили и просили о помощи. Господин Бедер тщетно пытался связаться с общинным советом и с Палестинским центром. Наконец пробился на коммутатор. Но успел только спросить, не случилось ли чего-нибудь. Телефонистка ответила: "Да" и бросила трубку. Я ее знаю, ее зовут Китти, она была в списке на выезд в Амстердам. Пришла сестра Эрика Анна и сдавленным голосом рассказала, что во всем городе горят синагоги.

Збоншинь, 18 декабря 1938 года

Дорогая Черна!

Наверное, вы уже знаете из газет о том, что у нас произошло ночью 9 ноября. Я опишу то, что случилось со мной. Я собирался вернуться в Сиротский дом в Динслакене и не успел. Меня арестовали в доме у друзей в третьем округе. Вывели всех из дому в 6 часов. До полицейского участка на Йохгассе за нами бежали молодые и не очень молодые люди и кричали: "Хэп, хэп, юде ферреке!"²⁰. Швыряли в нас камни и всякую дрянь. Множество евреев из третьего округа согнали во двор полиции. Невозможно описать, что там творилось. Избиения, стоны женщин и детей. Потом нас загнали на грузовики. Всю дорогу за нами бежала толпа, ругая и проклиная нас. Жители Вены вдруг превратились в диких зверей. Почти всю ночь мы мокли под дождем, в тесноте. К утру мне удалось бежать. Скрывался в разных местах. Попал на склад, где работал для фирмы "Клайн унд Кербер", и спрятал там дневник, который недавно начал вести. Дядю Артура выслали. Тетя Рита утопилась в Дунае. Говорят, что кто-то видел, как она бросилась прямо в Дунай, но никто ее не удерживал. Такие картины можно теперь видеть каждый день. 27 ноября в 10 часов вечера эсэсовцы пришли ко

мне домой и опять арестовали. Я был с ними один и никогда не забуду этих минут. Я онемел. С трудом оделся. Снаружи дул холодный ветер. Меня привели на вокзал, куда согнали много евреев со всех округов. Нас погрузили в товарные вагоны. И дети и взрослые плакали. Дети искали родителей, их крики разрывали сердце. Я никого не искал и не плакал. Двигался как автомат и лишь постарался пристроиться поближе к зарешеченному окну. На следующий день, в субботу, прибыли на границу. Два дня стояли на какой-то станции. Поезда приходили со всех концов Германии — я слышал названия Лейпциг, Кельн, Берлин, даже Динслакен. Сердце мое дрожало. Я встретил знаменитого профессора Хермана. Его с семьей обыскивали на границе и забрали все ценности и деньги. Оставили каждому по 10 марок. Им сказали: "У вас было не больше, когда вы пришли в Германию". Ты только подумай, отец профессора — один из главных строителей немецкой железной дороги!.. Той, по которой профессора вывезли из Германии.

Когда приехали в этот Збоншинь или Збашин, в вагоне оказалось много мертвых, а еще больше лежало на полу без сознания. Я тоже, наверное, потерял сознание, потому что очнулся в каком-то бараке и увидел склонившуюся надо мной сестру милосердия, еврейку из Варшавы. Польское правительство не разрешило нам въехать в Польшу, и нас здесь десятки тысяч, в ужасных условиях. Меня взяли в класс по изучению языка идиш. Учитель — доброволец, родом из Варшавы, знаком с твоим отцом, через него я и посылаю это письмо. Его зовут Рингельблум. В классе нам дают суп с мясом, и там не так холодно, как на улице. Каждый день приходят новые поезда с высланными из Германии и из Австрии. Записывают, у кого есть родные в Польше. Я дал ваш адрес. Может быть, мы скоро увидимся. Вчера у

меня был день рождения. Мне исполнилось 12 лет. Не понимаю, как об этом узнали. Господин Рингельблум принес в подарок книгу Шолом-Алейхема с картинками. Мне пока трудно читать на этом языке. Боюсь, что ты меня не узнаешь. Надо кончать. Вдруг откуда-то крики. Прибыл новый транспорт. Парализованную женщину взяли из дому в одной пижаме и в таком виде привезли в Збоншинь. Она воет от холода, как зверь.

Лео Моргенштерн

Письмо закончено и вложено в конверт, который дал учитель из Варшавы. Лео не спалось. Завернувшись в грубое одеяло, он подсел к окну и приписал:

”Дорогая Черна, в нейтральной зоне уже выпал снег. Снаружи воет ветер, и мои кости дрожат от холода. Я встал с койки, чтобы кончить письмо стихами, потому что, как мне стало по секрету известно, и ты пишешь стихи. У моего соседа, студента из Берлина, есть тетрадь стихотворений, и среди них несколько произведений поэтессы, имени которой я не знаю. У меня в голове все время звучат две строчки из них:

Убийцы бродят в мире

Всю ночь, о Боже мой, всю ночь!

А в другом стихотворении она говорит: ”Люблю тебя, мой народ, и в рубище”. Я не уверен, что правильно понял ее. По правде говоря, до сих пор я толком не знал, что значит ”мой народ”. И вот я — среди своего народа, а он так напуган, унижен и растерян. Боже, если бы я мог сказать, как она: ”Люблю тебя, мой народ, и в рубище”!

Я вспомнил название этого стихотворения: ”Крик падает в бездну вечности”.

Будь здорова,

Л.

ТРЕТЬЯ СЛЕЗА

Черне было восемнадцать лет и три дня, когда грузовик остановился на холме в роще. Пока откидывали брезентовый верх, она успела подобрать и заплести в одну косу, как она любила, свои черные волосы. Приказ раздеться она выполнила бездумно, будто не своими руками. Сжимала в кулаке лифчик и трусы, пока они не выпали из рук.

Черна сидела вместе с другими женщинами. Голые, как при рождении, сгрудились 119 женщин на склоне холма и ждали своей очереди. Осеннее солнце уже втянуло свои лучи и склонилось за толпу берез.

Тело Черны задрожало — послышались выстрелы. Выстрелы раздавались очередями и очень близко. А команда: "Встать!" прозвучала как будто изда-лека.

Встала и пошла вместе с другими женщинами на лесную поляну.

119 женщин стояли шеренгой на краю насыпи. Нежные лучи солнца лизали оцепенелую, будто оглушенную ударом молнии наготу, и немец скомандовал:

— Эй ты, с косой, шаг вперед!

Черна застыла, не понимая. Немец закричал:

— Ты что, жить не хочешь, еврейка?

Стоящая рядом женщина тронула ее за локоть. Черна задумалась.

— Хочу жить, — пробормотала она, прикрывая руками грудь. Черна видела два пулемета на треногах, четырех литовцев за пулеметами, лицо офицера.

— Сколько тебе лет, я спрашиваю.

— Только не плакать, — приказала себе Черна.

— Восемнадцать, господин. — Кажется, он хороший человек.

— Ты красивая, еврейка. Вы, еврейки, знаете себе цену. Еще немного, и взойдет тут луна. Будет чудный вечер. Давай, выходи из строя и иди. Выходи, тебе говорю — и не оглядывайся!

Слышит и не двигается. Ноги как каменные. Добрая соседка снова толкает ее под ребро. От прикосновения локтя к голому телу Черна срывается с места и идет. 118 пар глаз следят за ней со страхом и завистью. Она прошла мимо половины строя, почти дошла до последнего дерева на краю насыпи, когда пуля ударила ей в спину. Женщины в строю увидели, как она упала, раньше, чем услышали звук выстрела и хохот немца. Дымящимся маузером гестаповец дал сигнал пулеметчикам.

Когда убили Черну, на рынке, в конце Понарской улицы, еще было полно народу. У лотков с галантереей весело болтала молодежь. Крестьянка в большом, не по росту, пальто задержалась, примеряя бусы из фальшивых кораллов. Примерила белые, потом красные. Мужчина рядом с ней взвалил на плечи мешок и сказал: "Ну, жена, я пошел!" Из мешка раздавался пороссячий визг. В тот день в Бабьем Яру расстреляли 34 тысячи евреев. В Братиславе, как и в Вильно, это был базарный день. Теснились повозки, местные и приезжие крестьяне, выяснив, где чья лошадь, раскладывали товар. Словацкие мужики непривычно понижали голос, толкуя о том, куда и зачем забирают телеги в "ихний Судный день". Иные ворчали: совсем не жалеют немцы скотину — грузят по 20 евреев на одну лошадь — где у них совесть! А Бондарчук с хутора возле Трех крестов сплюнул из-под усов, рассказывая, в каком виде ему вернули его новую телегу, — вся была измазана калом и кровью. Бородатые мужики крестились, обтирали потные морды лошадей и торопливо распрягали их.

В Одессе расстреляли 19 тысяч. В Крыму в

общей сложности — 25 тысяч. Множество евреев погибло в Двинске и в Белгороде. В Каменец-Подольске, говорят, увели в Долину смерти венгерских евреев. Но кто видел их всех своими глазами, кто мог знать, сколько их было, кто сложил цифры и подвел итог? Разве что птицы небесные! Девочка, на вид лет двенадцати, а на самом деле семи-восьми, грызла огурец. В том году огурцы уродились на славу. На всей Понарской улице пахло чесноком и петрушкой. Опасались понижения цен. Отец девочки, грызущей огурец, горланил похабную песню. Покупательницы хихикали, подставляя передники под свежие овощи. Старик Василий, живший на другом берегу, спросил отца девочки: "А что вы, братец, сделали с новыми печками меховщика Зелига?" Папаша Стах обернулся и, узнав приятеля из-за реки, усмехнулся и ответил: "Видно, на то была добрая воля Господа, чтобы погрели эти печки кости простых людей!". 50 тысяч евреев Вильно убили тогда в роще в Понарах. А в Девятом Форте, в заброшенной старой крепости при въезде в Ковно, расстреляли 40 тысяч.

Когда убили Черну, на Вокзальной улице зажглись фонари. Прежде, бывало, слышались на рынке вперемешку еврейская, литовская, польская речи: расхваливали свой товар, божились, ругались. Исчерпав аргументы, кончали торг ударом по плечу и словами "С Богом!" — на языке страны, но с вековой еврейской напевностью. И не было векселя надежней. Василию Дубине казалось, что он слышит за клубами пара голос Зелига. Но в бане, куда он пришел после базарного дня, не было евреев. "Какие странные звуки слышались из их синагог, — размышлял Василий, — будто предчувствовали..."

Забравшись на верхнюю, окутанную паром полку, Василий слушал, как хлещут веники по распаренным телам. Как всегда в бане, он словно

помолодел на несколько лет. Вдруг он заметил, что сын не решается подняться к нему на полку. Василий притянул его к себе со словами: "Мой отец, царство ему небесное, бывало говорил, — тому, кто стоит на этой ступеньке, не страшно адское пламя". Парень глянул на отца и настороженно спросил: "А чего мне бояться адского пламени?" — "А за то, что ты со своими дружками делаешь, как я слышал, у ворот гетто".

Когда убили Черну, в неурочное время открылись ворота рижского гетто и к ним подошла большая колонна людей. Они вели себя сдержанно и, судя по одежде, были из приличных семей. У многих в руках были тяжелые чемоданы, а полы пальто были забрызганы грязью. Рижане в недоумении окружили приезжих, спрашивая:

— Откуда вы, евреи?

— Из Берлина.

— А мы из Штутгарта.

— Из Бреслау.

— А зачем вас везут из Германии в Латвию? — удивились рижане. Из приезжих не все знали, что эта страна зовется Латвией. Они ответили:

— Нас переселяют.

— Нам сказали, что нас переселяют на Восток, — уточнили другие. Кто-то из толпы не удержался от горестного смеха, но тут же осекся. Один из молодых при слове "переселяют" вздрогнул. Он сказал, подойдя вплотную к стоявшему впереди человеку в шляпе с жесткими полями и с кожаным чемоданом:

— Друзья мои, уже двадцать семь тысяч из нас отправились на это переселение — понятно?!

Они не поняли. Но разве понимали в Иерусалиме, в Лондоне? В эти дни в Нью-Йорке готовились к маршу в честь Дня благодарения. Муляжи в витринах фирмы Мэйсис изображали знаменитых футболистов в натуральную величину: команда

Гарварда в присутствии 55 тысяч зрителей выиграла накануне у Йеля. Телевидение показывало новую коллекцию моделей одежды, которая обещала превратить Нью-Йорк в мировой центр моды; очередь в кассы Радио-сиди на шоу с Фредом Астором и Ритой Хейворт протянулась на два квартала... Газета "Пост" предсказывала Южной Америке большое будущее в развитии туризма... Интеллектуалов продолжал волновать вопрос: существует ли американское искусство? Главной проблемой после войны, считала газета "Нью-Йорк таймс", будет просвещение... Когда убили в Понарах Черну, закончился 1941 год христианской эры.

КНИГА ВТОРАЯ

НА РЕКАХ ЕВРОПЕЙСКИХ

ШАУЛЬ УХОДИТ

Кто-то сказал, что заблудившемуся в лесу следует найти ту развилку, от которой он пошел неверно. Итак, начнем издалека.

Человек стоит на пороге своего дома и видит:

На окне у сапожника Шабтая горит свеча. Как всегда, он начинает рабочий день первым. Сначала берется за шило... На Базарной площади вот-вот откроют двери жестянщики и парикмахеры. На дороге уже скрипят телеги. Из трубы на крыше постоянного двора реб Калмана идет дым. Пригорел перловый суп. Западный ветер доносит из-за реки аромат фруктовых садов. Он смешивается с запахом болотных испарений. Еще сильнее вонь от чанов, в которых кожевенники вымачивают дешевую кожу. Она куда противнее, чем запах свежих коровьих и конских лепешек. Все эти запахи следуют за Шаулем повсюду, как память о детстве и доме.

Белая церковь на фоне облаков. Колокола молчат.

Будет ли война?

Он видит:

Только рассвело, а на Базарной площади уже кипит жизнь. Деревенские евреи с окраин местечка и крестьяне въезжают на телегах, распрягают потных лошадей, толкутся у колодца, черпая

ведрами воду. Двухолки из соседнего города с местными товарами приезжают со стороны железнодорожной станции, расположенной у въезда в местечко. Как на военном смотре, выстроились на квадратной площади рынка еврейские лавочки. Хозяев знают по вывескам: "Мицькович Ашер — ткани", "Вдова Ципель — королева обуви", "Крамер и Гурфейн", "Братья Канторович". Крестьяне, распродав свой урожай, разбегутся за покупками по лавкам. Здесь найдется все, что нужно деревенскому человеку: платки, ткани, кофты, сапоги кирзовые и кожаные, шубы, кожа, верхняя одежда и нижнее белье, сковородки, селедка, растительное и машинное масло, серпы, плуги, косы, молотки, новые и использованные гвозди.

Мать торговала в кредит — до следующей ярмарки — и за наличные, со скидкой. Особый ажиотаж царил в лавке реб Шломо Готлиба. Чего там только не было! От тетрадей, карандашей и красок до строительных материалов. Была даже машина для резки кормовых трав. Реб Шломо — днем продавец, вечером учитель, в промежутке хаззан²¹. Это он прочел "Альтнойланд" доктора Герцля²² и определил: "Утопия!". С тех пор не было в местечке уважающего себя еврея, который — в серьезной беседе или в споре с женой — не ввернул бы слова "утопия". Так, солидные люди местечка, прослышав о первом киноаппарате, который собирались привезти из уездного города, хором закричали: "Утопия! Утопия, ун фартик!"²³ Так же было сказано и о царских рублях, только на этот раз те, кто сказали "утопия", оказались правы: к концу мировой войны в ящиках столов, в мешках и на чердаках скопились тысячи и миллионы рублей ассигнациями, и уже пришел конец дому Романовых, но владельцы этих бумаг все не решались к ним прикоснуться, тем более — сжечь в печке: а вдруг они снова станут ценными? Молодые смеялись: "Утопия, господа,

утопия!” А старики сердились, трясли кулаками и кричали: ”Замолчите, большевики! Жить вам надоело!?”

Он видит евреев-домовладельцев. Кто уцелел во время той войны, отстроил дом и снова нажил добро. Появились и новоселы, купили участки, занялись ремеслом — кто бондарным, кто портняжным; брат отца дядя Калман открыл у базарной стены постоянный двор.

Ниже по улице торгуют старьем, у кого не было магазина, был хотя бы склад на заднем дворе. Даже торговцы вразнос, лоточники, казались довольны жизнью, ведь они знали: у кого в этом Божьем мире нет ни магазина, ни лотка, свой скудный товар они раскладывают прямо на земле. Вот один из них, по имени Йозель. На голове кожаная островерхая шапка, кафтан подвязан веревкой. Он сидит на мешке. Глаза под нависшими бровями не отрываются от сборника легенд из Талмуда — ”Эйн Яков”. Ни на покупателей, ни на своих соседей справа и слева Йозель не смотрит. Но обычно мелкой торговлей занимаются женщины. Они видят не лица прохожих, а только их ноги, и монотонно твердят: ”Купите-купите-купите!” У торговок есть все — от пуговиц и шнурков до пшеничной булки и любимого лакомства взрослых и детей — мороженых яблок. И хотя в разгар зимы редки на Базарной площади покупатели, но торговки не покидают своих постов и зимой — от Ханукки до Пурима²⁴ включительно. От мороза есть у них особое средство — горшки с шипящими углями. Жесткие ладони порхают над голубоватым пламенем. Иные засовывают разогретый добела горшок себе под юбку. И кто пожелает сладкого яблочка и наклонится к сидящим на углях женщинам, не отворотит носа: уж извините, ведь все знают, что у бедности — свой запах.

Звонят церковные колокола.

Будет ли война?

Лоток за лотком пробуждается к жизни и рыбный ряд. На деревянных подставках — плоские ящики с рыбой, отдельно каждый сорт. Рыба поблескивает из-под насыпанного в ящики льда. Торгующие в этом ряду — особая порода. Руки этих женщин горят от льда и рыбьей чешуи. Запах рыбы исходит от них и в постели, и в синагоге. А их язык... Господи, спаси нас от него! Рыба, как известно, единственное создание, уцелевшее при потопе, и лишь потому, что вовремя догадалась онеметь. Она и поныне молчит, а ожесточившейся от нелегкой доли торговке приходится говорить за двоих. Она это и делает, да так, что даже когда она сама перейдет в лучший мир, ее словесное наследие еще долго будет кормить поколения фольклористов. Послушайте только диалог одной из них с Манечкой. Манечка, в прошлом старая дева, ныне "мадам", жена бывшего вдовца реб Лузера Городника. Реб Лузер — староста хоральной синагоги. Аристократия рынка называет его холерой, прозвище это прилипло и к его жене. Спросите на рынке любого — хуже нет, чем иметь с ней дело. Даже карп для нее недостаточно хорош! Три, четыре раза обойдет лотки, здесь пощупает, туда сунется своим основательным носом. А потом закинет за спину корзину и решительно заявит: "Нет!". Тогда Зельда, занимающая последнее место в рыбном ряду, которую дома ждут десять ртов, предложит ей свой товар. Она величает Манечку "мадам" и, обильно цитируя пророков, объясняет, как полезно для мадам Манечки проявить милосердие к зельдиным ребятишкам. С той же страстностью доказывает Зельда, какая свежая у нее рыба — та самая, чьи глаза во времена Ноя видели сокрытый от других свет.

Но мадам отделяется от Зельды, заявив: "Во-первых, рыба сегодня не ай-ай-ай, а во-вторых, я и в самом деле спешу!". Тогда Зельда отвечает: "Если вы, мадам, спешите, то побыстрее дойдите до места, где все мы будем". И пока Манечка, покраснев, удаляется, Зельда глумливо-монотонно, словно читая молитву, твердит ей вслед: "Да обрушится эта церковь в одно прекрасное утро, когда наша мадам вознесется на ее колокольню!"

...Будет ли война?

Он видит:

Все вернулось на свои места: вот его дом — дубовые ворота, три стертых ступени, высокие окна. Деревянная веранда. Все выкрашено в бирюзовый цвет. Магазин полон стойких запахов. За прилавком — мать. Сейчас слезут с телег мужики и войдут в дом в своих тяжелых сапогах. Он слышит низкие, хриплые голоса и звонкий, высокий голос матери; иногда она смеется. Когда мама вскрикивает: "Ой, взй", — мужики смеются.

Вдруг и ему стало смешно: он видит только ноги, без голов. Ведь он знакомится с миром из деревянного сооружения, служащего ему колыбелью. Оно стоит между дощатой перегородкой прилавка и ногами матери, где-то между ее коленом и лодыжкой; ничего больше он с этой стороны не видит. Зато может наблюдать мир сквозь щель в перегородке. Ног прошло перед ним много, а голову он увидел только одну. Это была большая и страшная голова, очень близко от него. Сломав ногу, упала перед домом лошадь; она теребила тремя ногами сбрую и пыталась приподнять голову. Ужаснее всего было выражение ее глаз...

Крошки хлеба, сыра и колбасы, падая, попадают ему в глаза. Он плачет. Мама, которой некогда нагнуться к нему, поспешно качает колыбель ногой. Ребенок быстро стихает, но скоро опять

начинает плакать, потому что ему приятно, когда мама качает ногой колыбель. Другая нога матери перевязана бинтом, от которого идет резкий запах. Когда бледные лучи солнца проникнут сквозь щели перегородки, начнется базар. Ребенок слышит грохот нагруженных телег. Ему кажется, что весь солнечный мир распадается с металлическим скрежетом на куски.

Он видит:

монастырскую стену. За ней озеро и луга. Они начинаются сразу за поселком и тянутся до бесконечности. Он исходил всю эту страну пешком. Утро заставало его лежащим навзничь на дамбе или бесстрашно скачущим по ней над бурлящей водой. В один из таких дней он послал по реке свой первый взволнованный стих далеким людям, обитающим за морями и океанами. Почему и поныне пугает его звон церковных колоколов? В детстве он мчался изо всех сил, чтобы добежать до дома и скрыться от этого звона.

Все в его доме стояло на своих местах. Мебель была как бы построена вместе со стенами. Занавески рассеивали солнечный свет и казалось, что лица людей светятся. Этот свет запал ему в душу и остался в ней навсегда.

Четыре года он работал, вместе со старшим братом, в столярной мастерской Вольфа. Когда бы они ни возвращались домой, их ждал накрытый матерью стол. И в хорошие и в плохие времена сверкал он белизной скатерти, а вкусные запахи дразнили с самого порога. У двери их шумно встречал Вельвеле, единственный сын Хаим-Ойзера, его брата. Ребенок показывал картинку, которую он только что нарисовал "для папы", и ждал одобрения. Но Хаим-Ойзер то ли от усталости, то ли по другой причине скупился на похвалы и говорил только: "Ну хорошо, милый, хорошо". И тогда Крейна с обидой и даже злостью сжимала

свои красивые губы. Крейна приехала к ним из уездного города, но говорили, что родилась она в Вене. Под хулу она шла, как принцесса, а потом решила, что ее заточили в глубокой провинции. В тот момент, когда ее первенец, которого она звала Вовиком, взял в руку цветной карандаш и начеркал им то, что любой веселый мальчик обычно рисует на любом клочке белой бумаги, у Крейны родилась мечта: через несколько лет ее сын станет знаменитым художником. А благодаря ему и она спасется "от этой глухой дыры, где жизнь пахнет смертью".

Вдруг он видит, что свернул с тропинки, ведущей из местечка к шоссе. Он пытается отсрочить разлуку с домом. А может быть, просто задумался... Вот "Алте-Шул"²⁵, синагога, отстроенная на месте сгоревшей лет семьдесят назад. Вид у нее жалкий — стены почти до подоконников в земле, двор запущен. С другой стороны — блестящий купол хоральной синагоги. Когда-то за какой-то проступок старый меламед²⁶ оставил их в хедере после занятий. Когда они, наконец, вырвались на улицу, был уже вечер, осенний вечер, утопающий в длинных тенях. Они весело скакали, задирая друг друга, пока не дошли до Алте-Шул. Мальчишки остановились и стали гадать, что это за шум — шелест крыльев под крышей или шуршит метла, на которой скачет Рогатый? Мальчик хочет прослыть храбрецом, но колени его дрожат: неужели ему входить первому? Сказать по-правде, он нигде не видел ни чертей, ни привидений. Ни в этом пустом дворе, ни в другом месте. Но летучие мыши здесь водятся, хлопают крыльями и пускают мерзкую темно-коричневую слюну, которая блестит на стенах старой синагоги, как желчь Саммаэля²⁷, да сотрется его имя. На много лет, пока не пролетят у него над головой на бреющем полете

мессершмиты, гонясь за всем, что живет и движется, — а может быть, и навсегда, сохранится в его памяти ужас перед этими летучими мышами и перед прикосновением их крыльев к волосам.

Вот он стоит в оцепенении, защищая руками голову, с которой свалилась шапка. Кругом — его товарищи, и все молчат и не двигаются. В такой момент даже крикнуть не можешь, задыхаясь, как в том страшном сне, который он часто видел в отрочестве.

”Не волнуйся, мама, польская армия даст отпор немцам. наших рядов им не прорвать. Ради Бога, почему ты должна волноваться, если даже будет война?” С тех пор, как в аварии на мельнице погиб отец, мать всего боится и из-за всего волнуется.

Пройдя центр местечка, он не спеша выходит на берег реки. На перекрестке в нос ударил запах кожи. Он различал сорта по запахам во дворах кожевенников. С одной стороны отмачивалась грубая кожа для подметок, с другой — доносилось благоухание из чанов с высококачественным шевро, которое выделывал реб Калманке. А здесь жили кожевенники Гордоны — четыре брата, все четверо крепкие и смелые люди.

Холм, где стоит распятие, знаменит прекрасным песком, из которого так хорошо строить туннели и замки. Здесь, на Крестовом холме, по субботам и праздникам, он, единственный из всех еврейских детей, строил вместе с Пшибушем и Яцеком великолепные дворцы и стяжал славу замечательного архитектора. Но однажды Пшибуш, смущенно помявшись, сказал ему: ”Отец говорит, что в страданиях нашего Пана Езуса виноваты евреи. Это вы его распяли и должны за это поплатиться”. Так сказал Пшибуш, мальчик в веснушках, отойдя на шаг от входа в туннель, выкопанный Шауликом. И мальчик Шауль пришел к своему отцу и

возмущенно спросил: "Это правда, что мы убили ихнего Пана Езуса?" Отец ответил: "Это — вековой кровавый навет, сын мой. А на холм этот ты больше не пойдешь".

Будет ли война?

Он видит

свою мать, сидящую, откинув голову на высокую спинку кресла. Под узлом густых маминых волос белеет вышитая салфетка — изделие ее рук. Он не сразу заметил, что, несмотря на теплый день, колени мамы покрыты шерстяным одеялом. Прозрачно-бледное лицо сохранило следы красоты. На коленях — открытый молитвенник в коричневом переплете, свет из окна падает на пальцы, неподвижно лежащие на страницах книги. Этот молитвенник, который от бабушки достался в наследство матери, а потом ее невестке — тете Рите, привез отец с похорон тети Риты. Тетя Рита жила в Германии и была замужем за главой дюссельдорфской общины. В молитвеннике, который отец взял на память, в нескольких местах отмечено синим карандашом: "Хир вейнт ман", то есть — "здесь плачут". Кто-то из предков отметил это для своей жены. Но его мать не нуждалась в таких отметках, она вообще не любила немецкий молитвенник. Почему же сегодня она взяла эту книгу и открыла ее?

Мать сказала:

— Слушай, Салинька. Когда вспыхнула мировая война, весь мир как будто охватил праздник. Муж Риты пошел одним из первых воевать за кайзера, а мой брат Марк воевал на другой стороне, за царя Николая. Мы с твоим отцом хлопотали день и ночь — собирали продукты для голодных и одежду для беженцев; местечко было полно ими. Они стучались в двери, просили чего-нибудь поесть. Мы раздавали муку, не помышляя о выгоде и плате, когда мука кончилась,

— крупу. А когда кончилась и крупа, делились куском хлеба, не различая, кто нуждается в помощи: еврей ли, поляк или украинец. Потому что, как говорил твой отец, да почитет он в мире, "каждый человек создан по образу и подобию Господа". Потому и пришли люди отовсюду, когда его провожали в последний путь. Ты помнишь, Салинька, что ты не пролил ни единой слезы на могиле отца? Все удивлялись, почему ты не плачешь.

— Я плакал потом три дня на чердаке, когда был один.

Он вдруг уловил странный запах пуримских сладостей и маринада, смешанный с запахом нефти, сальных свечей и самогона, который приносили с собой мужики в плащах.

— Я до сих пор встречаю крестьян, своих бывших покупателей, — продолжала мать. — Они с уважением вспоминают пана Изака, который не различал евреев и христиан ни в торговле, ни в добрых делах. Я верю, что и на этот раз, если, не дай Бог, будем нуждаться в помощи, крестьяне вспомнят нас добром, и милосердный Господь не оставит нас без помощи.

Она замолчала, наверное задумавшись о горящих вагонах во время Гражданской войны, о петлюровских погромах, об огне и крови, которые оставляли за собой отступавшие армии. Он наклонился, чтобы поцеловать мать. Она внезапно вздрогнула и, вдыхая влажный запах его шинели, с силой сжала его голову:

— Будь осторожен, Салинька! — И спросила, испытующе глядя на него:

— А что, сын, говорит тебе сердце? Будет ли война?

— Будет или нет, тебе не надо волноваться. Нас, солдат, много — и поляков, и евреев.

Она только теперь заметила его шпагу на ремне. Внимательно посмотрела на черную рукоятку и без улыбки сказала:

— Сын, не причиняй людям зла.

Он просил не провожать его и покинул местечко один, без шума. Сын брата, Вовик, пожал ему по-мужски руку и, называя дядю его ивритским именем, как это принято в Ха-шомер ха-цаир²⁸, — сказал:

— Хазак веамац²⁹, Шауль.

Сердце Шауля сжалось. В последний раз он слышал эти слова от отца, читавшего своим красивым голосом Танах. В субботу после молитвы они, бывало, прогуливались с отцом, вместе с другими евреями, по главной улице местечка. Шли медленно, ощущая особое удовольствие от того, что идут по еврейской улице, что вокруг — еврейские дома, наслаждаясь еврейским покоем, и даже небеса казались им своими, еврейскими.

Проходя мимо речного обрыва, он вспомнил то лето, когда отец учил его ловить рыбу. Отец мечтал переехать в Одессу, и споры родителей на эту тему были такими бурными, что угрожали семейному миру. Мальчик узнал, что в Одессе есть море, и сердце его возжаждало настоящего моря, не такого, какое они с Пшибушем создали в песке. Он сердился на мать, из-за которой переезд откладывался.

— У отца есть в Одессе дядя, но я не хочу висеть на шее у богатых родственников, — объяснила мать. А его душа разрывалась на части: он мечтал увидеть море, но терпеть не мог одесских родственников. Они однажды приехали в местечко и на потеху всем говорили "тотэ" и "момэ"³⁰!

— Эх, Одесса! — вздыхал отец, — только руку протяни, и ты уже в Эрец-Исраэль! — Но на этом его уговоры и заканчивались.

В небольшом заливишке, у белого камня над обрывом, пока не наступали заморозки, в прозрачной воде плескались лебеди. А куда, кстати, деваются лебеди зимой? Стал накрапывать дождь,

и не осталось времени пересечь дамбу и посмотреть, плещутся ли они до сих пор у белого камня.

Со стороны вокзала раздался свисток, а он все смотрел назад, видел длинные тени на опустевшей улице, видел справа православную церковь, слева — белую, католическую, а посредине — еврейское местечко.

СКИТАНИЯ ДВОРЫ ИЗ КАЛИША

Отец Дворы с трудом раздобыл телегу, чтобы увезти семью в деревню. Сразу же после августа 1939 года Калиш охватила отъездная лихорадка. Польские власти поощряли эвакуацию. Согласно их распоряжениям, звучащим сверху подобно небесному гласу, но путаным и ежедневно меняющимся, эвакуация касалась лишь детей и женщин. Судя же по тому, что творилось во всех дворах и на дорогах, бежали все, у кого только хватало ума. Война еще не началась, а Польшу уже заливала людская лава, в которой мелькали головы лошадей.

Старшего брата Дворы, Израиля, мобилизовали в армию. Она и младший брат, 12-летний подросток, сидели на узлах, перевязанных одеялами и простынями. На козлах — родители, на каждом по два пальто; дяди и тетки с потомством, кого только удалось забрать с собой, устроены между узлами; плачет зажатый между чьим-то боком и ящиком младенец. Всего на телеге было 25 человек. В тот момент, когда телега, наконец, двинулась по бульвару Пилсудского, все двадцать пять пар глаз засияли от радости. Со всех сторон шли люди с мешками, покачиваясь под тяжестью. У кого была лошадь и телега, тот чувствовал себя королем. А лошадь надо было беречь, как самого себя! Скоро почти всем мужчинам, в том числе и

отцу, пришлось слезть с телеги, и только четверо остались при багаже. В субботу утром въехали в село. Свободного жилья не оказалось, видно, их опередили другие жители Калиша. Они отправились в Турек. Турек был довольно большим местечком, и хотя население его за ночь увеличилось втрое, но на тесноту не жаловались. Двору радовало, что в Туреке есть река. Уход брата в армию и горькие, как по покойнику, слезы матери заставили ее отказаться от поездки в летний лагерь Ха-шомер ха-цаир. А она перед этим купила себе новый прекрасный купальник. В этом году лагерь был организован в предгорьях Карпат, в замечательно красивом месте. А теперь купальник можно будет обновить в реке Просне.

Стоял ясный день. Возвращаясь с купанья, Двора увидела на высоком берегу группу всадников. Это были польские кавалеристы, уланы. Они беззаботно пели на скаку:

Под мостом плещутся серые лебеди,
Есть у родины верные защитники,
Эй-ду, эй-ду!
Кто это идет с реки
С цветущей розой на груди?
Едет, едет эскадрон
Через горы, через доли.
Эй-ду, эй-ду!

Шауль не мог бы объяснить, как он узнал в молодой панне свою племянницу. Она запомнилась ему довольно красивой и капризной девочкой. В последний раз, когда Двора гостила у них, узнав, что у них в квартире нет уборной, ванной и даже водопровода, она пристала к отцу, чтобы они сразу вернулись к себе в Калиш.

— А теперь есть? — спросила Двора, смеясь, набрасывая полотенце то на обнаженные плечи, то на спину. Шауль смотрел на нее с откровенным

восхищением. Он обещал Дворе непременно разыскать их вечером и подробно рассказать о том, как его мобилизовали и, не успев обучить, перевели вместе с уланами сюда. А здесь, заявил он, мы укрепим фронт и разгромим врага.

В Турек вошло польское войско, и майор приказал беженцам покинуть местечко. Все 25 родственников Дворы, в том числе двое больных детей, оставив вещи у знакомых, уехали на своей единственной телеге. Дворе так и не удалось повидаться с Шаулем. Другой эскадрон улан проскакал мимо них по дороге на Клодово. В ту же минуту с юга показались самолеты. "Это наши!" — успокаивали перепуганных беженцев уланы. Но обмануть лошадей было невозможно. Чуть не порвав упряжи, они понеслись галопом. Самолеты кружили над людьми. Кончилась одна бомбежка, началась другая, и вот уже на шоссе, у сгоревших телег, десятки мертвых тел. Их телега не пострадала, но была убита тетя Мина — единственной пулей, выпущенной пулеметом мессершмита. Тетю Мину похоронили в Коло, где их настигли немцы. Забрали телегу и лошадь, приказали покинуть деревню.

На пятый день скитаний две женщины совсем выбились из сил, а у дяди Лузера случился сердечный приступ. Его оставили у мельника, их родственника, который не решился бросить мельницу, все добро и стать беженцем. Жену и двух дочерей Лузера послали в деревню, километров за 60 от Калиша. Завшивленная, голодная и ослабевшая, вернулась семья Дворы Кречмер в Калиш.

Был канун еврейского нового года. Стояла изнурительная жара. На Базарной площади, в налитой из шланга луже, прыгали евреи. Тех, кто замешкался, немецкие солдаты били плетью. Мать потеряла сознание, Кречмер с двумя зятьями подхватили ее на руки. Двору не успели остановить — она кинулась к площади, где стояла группа

офицеров. У некоторых были в руках фотоаппараты. Двора что-то крикнула, показывая на мать.

— Еврейка? — спросил офицер.

— Да, еврейка.

— А! — бросил офицер равнодушно, взмахом хлыста приказал пропустить семью Дворы, потом отвернулся и велел евреям продолжать прыгать.

В тот же вечер Цви Кречмеру удалось отослать жену и младшего сына на попутной телеге в соседнюю деревню — переждать опасное время. А Двора отправилась одна на станцию, захватив кое-что из вещей, уцелевших в их разоренной квартире.

Письма Шауля в никуда

Понедельник

Наш полк окружен. Командир убит, штабные офицеры разбежались. Лейтенант, храбрый деревенский парень, приказал ночью прорвать окружение. "Тебе терять нечего", — сказал он, положив руку мне на плечо. Нас в роте трое евреев, и мы знаем, что нас ждет, если мы попадем в плен к немцам.

Среда

Слава Богу, удалось! Но, возможно, мы попали из огня да в полымя. Лодзь взяли немцы. Назавтра появились в городе фольксдойчи³¹. Они надели на руку повязку со свастикой и выдают немцам отставших от своих частей солдат, не жалея и раненых. Поляки поражены, как много их соседей оказалось фольксдойчами.

Пятница

Вот уж не думал, что нам придется остерегаться не только немцев. Меня приютили Сираковяки. Они живут в Балутах — районе бедняков. Вечером посижу с ними за субботним столом.

Воскресенье

Многие из покинувших город беженцев возвращаются, спасаясь от немцев, которые их опередили и перекрыли дороги. Немцы не колеблясь открывали пулеметный огонь по всему, что движется, будь то люди или скот. Мессершмиты довершают разгром с воздуха. Лодзь с каждым днем разбухает от притока беженцев, это грозит голодом. Мелех Сираковяк сказал: "Нет страданий без вины".

Понедельник

Сожгли главную синагогу, гордость общины. Когда пожар еще бушевал, я случайно проходил по бульвару Костюшко. Пожарники и польская полиция разгоняли любопытных и следили за тем, чтобы пожар не тушили. Немецкие солдаты фотографировали пожар и смеялись. Вернувшись домой, я узнал — повсюду в городе жгут синагоги.

Вторник

Сын Сираковяков Давид видел, как солдаты издевались на улице над стариками-евреями. Среди них был служка синагоги портных. Его заставили расстелить на мостовой свиток Торы, а другим евреям приказали мочиться на пергамент. Тех, кто отказывался, били по голове прикладами.

Четверг

Ходят слухи, что Лодзь переименуют в Лицманштадт и присоединят к Рейху. Хорошо ли это для евреев? Рэб Мелех Сираковяк говорит, что Лицман — это немецкий генерал, захвативший город во время Первой мировой войны. Старожилы рассказывают, что этот генерал благоволил к сынам Израиля, помогал бедным. А сейчас мы снова в большой нужде, говорит рэб Мелех, и имя праведника нас, конечно, защитит.

Давид снова стал свидетелем надругательств. Солдаты схватили на улице сына пекаря, чей малый таллит³² вызвал их любопытство. Один из солдат поджег цицес³³ и, поднося огонь, опалил мальчику ресницы. Прохожие останавливались и молча смотрели.

Вторник

Сын аптекаря, который в свое время вместе с другими добровольцами отправился защищать Варшаву, вернулся из захваченной столицы на костылях. Послушать его собрались чуть не все жители Балут, и сын аптекаря рассказал, что немцы послали его на принудительные работы. Немец-охранник, считая, что он работает недостаточно усердно, перебил ему прикладом кость ноги. Вместе с ним схватили раввина Праги, реб Якова Зильберштейна, когда тот шел с таллитом под мышкой на молитву. Немцы приказали раввину завернуться на работе в таллит, всячески издевались над ним. Среди схваченных был сионистский деятель Авигдор Фридман с улицы Брокова, 30. Он бросился на помощь раввину, когда тот упал в грязь. Его тут же выдернули из строя. Через десять дней жене Авигдора выдали его изуродованный труп.

Среда

Мужчины все возвращаются с фронта. Племянник Сираковяков вернулся из Варшавы больным и лег в тяжелом состоянии в больницу. Но рэб Мелех сказал: "Главное, что мы все вместе, ун Гот из а фотер"³⁴. От моей семьи нет известий.

Пятница

"Убивают! Моего Янкеле убивают!" Я подскочил к окну, вернее, к щели между досками, которыми забито окно комнаты, где я скрываюсь вместе с другими еврейскими мужчинами. В окне напротив размахивала руками хозяйка бакалейной лавки.

Семилетний Янкеле, светлоглазый и светловолосый, снял, как положено еврею при встрече с немцем, шапку. Держа шапку в руке, мальчик жалобно смотрел вверх, на немецкого сержанта, который взял его за подбородок. Несколько евреек издали наблюдали за этой сценой. Подошел другой солдат; оба — не очень молодые. Похоже, что сержанта ничего дурного не замышлял, а

только хотел знать, почему мальчик вполне арийского вида снимает перед ним шапку. Он взял ребенка за ухо и смеясь, спросил: "Ты чей, мальчик?" В этот момент сержант слышит крик матери и, переведя взгляд с ребенка на горько рыдающую в окне мать, качает недоверчиво головой и пыхтит: "Зо клайн, унд шон юде!" — "Такой маленький, а уже еврей!" Некоторые женщины клялись, что видели, как правая рука немца потянулась к кобуре маузера. Но он лишь сильно дернул мальчика за ухо — то ли от сочувствия, то ли от злости — и крикнул в его полные слез глаза: "А ну беги отсюда, поросенок!" И все, кто молча наблюдал эту сцену, с облегчением вздохнули.

Среда

По утрам на круглом бетонном столбе на площади расклеивают объявления. Меня влечет к этому столбу, хотя лучше бы держаться от него подальше. Что ни день — новая беда. То евреи должны немедленно сдать радиоприемники — кто нарушит приказ, будет расстрелян. То распоряжение о сдаче мехов. За нарушение — расстрел. Евреям запрещено посещать кинотеатры и ходить по тротуарам, "предназначенным для людей". Продовольствия в городе становится все меньше. В длинной очереди за хлебом сторожиха Манька, лет сорок проработавшая в еврейских домах, разглагольствовала: "Во всем, мои милые, виноваты эти грязные евреи!" Разъяснить свою точку зрения она, разумеется, не потрудилась.

На исходе субботы

Ходят слухи, что будет создано гетто. Когда и где? Некоторые считают, что здесь, в Балутах.

Двора, моя племянница из Калиша, наверное, убежала в Вильно. Оказывается, тысячи халуцим тайно переходят литовскую границу. Литва — независимое государство, и Вильно — надежда тех, кто стремится в Эрец-Исраэль и в свободный

мир. Невероятно, чтобы такая хрупкая девушка, как Двора, решилась оставить семью и пуститься в опасный путь. Надеюсь, что болезнь не помешает мне в скором времени отправиться за ней и вырваться из этого ада.

Вторник

Немцы заняли Александрув. На следующий же день сожгли синагогу и ешибот.³⁵ Собрали свитки Торы и разложили на Базарной площади костер. Одному из жителей, который не успел спрятаться, офицер приказал порвать листы Торы перед тем, как их бросить в костер. Жертвой оказался Мотель Гохман. Мотель затряс головой: "Не могу!" Офицер выхватил пистолет и велел ему стать к стене. Мотель увидел направленное на него дуло, прислонился к стене и закрыл глаза. "Шма Исразль"³⁶, — сказал он громко и не успел понять, что случилось: сильные руки бросили его плашмя, ткнули лицом в землю, на спину обрушилась плеть. Мотель не слышал, как офицер отдал приказ его выпороть, не видел, как он спрятал маузер в кобуру, не понял, кто и куда тащит его налитое болью тело, — сознание его помутилось. Придя в себя и обнаружив, что он — в еврейском доме, Мотель прежде всего спросил: "Это правда, что я не порвал гвйлим — листы Торы?"

Вторник

Вот я и под замком! Уже три месяца, как я в гетто. Временами казалось, что выдержать это невозможно. — Ведь другие остались на воле! Поляки, которые проиграли войну и лишились независимости, — свободны! Возможно, что я рассуждаю примитивно, но тому, кто этого не испытал, невозможно объяснить, что значит оказаться взаперти. Для них — для пшибушей и мацеков — которые приходят иногда взглянуть и приветливо помахать рукой, а иногда — сделать что-нибудь похуже — для них есть тропинки, по которым можно ходить, можно сбежать. Я пони-

маю, что и они не так уж свободны. Но мы — под замком, и в этом вся разница.

Голод. Вонь. Болезни. Не знаю, почему, но я ощущаю глубокий стыд.

Четверг

Странно, но я постоянно думаю о Рухче. У Рухчи зеленые глаза, и мне кажется, что в них пылает загадочный огонь. Боюсь, что она заразилась от своего брата чахоткой. У ее семилетнего брата скоротечная чахотка; он все время плачет от голода. Рухча не работает, а кусок хлеба, который я ей приношу, она откладывает, завернув в платок. Иногда не может удержаться и тайком отламывает кусочек. Рухче 19 лет, но выглядит она вдвое старше. Отец ее уехал в деревню в поисках работы и до сих пор не вернулся. Мать умерла, брат-близнец Даниэль в Вильно, с халуцим. Через Рухчу я узнал, что моя племянница Двора туда не добралась и все еще бродит по дорогам.

Суббота

За перегородкой в бывшей кладовой живет С. У нее младший брат лет четырех. Это беженцы из Варшавы, родители их убиты во время бомбежки в первый день войны. Старший брат С. Данко не вернулся с фронта. Сначала С. повезло: она мыла полы в немецком доме. Но с тех пор, как ее уволили из-за разбитой вазы, они с младшим братом умирают с голоду. Буквально.

Среда

Мальчик умер, и С. не сказала об этом своей соседке Рухче. Труп она спрятала под кровать и выдумала историю — будто брата усыновила полька, а чтобы мертвое тело не смердело, залила его лизолом. Благодаря этому у нее еще неделю были продовольственные талоны. На седьмой день ей стало плохо.

Ходили с Рухчей навестить С. в больницу гетто. С. сказала: "Мне очень хорошо. Здесь кормят".

ОГНЕННАЯ ОСЕНЬ. ЕВРЕЙСКОЕ БРАТСТВО

Двора не нашла безопасного места и все бродила по дорогам. Так же внезапно, как родительский дом, покинула она и Варшаву. Позже она вспомнит голубые просветы в тучах, закрывших в то утро небо над Калишем. На фоне прозрачной голубизны появившиеся из-за туч самолеты показались кошмарным видением. Завыла сирена, наступило молчание, гробовое молчание, как перед раскатом грома.

Родные Дворы не удивились, когда она, измученная и растрепанная, появилась в их варшавском доме.

— А где родители? — спросили ее.

— Придут позже, — ответила Двора и прибавила: — Железнодорожники говорят, что немцы в тридцати километрах от Варшавы.

Дядя Гершуни побледнел, схватился за горло, словно на него набросили петлю, и растерянно пробормотал:

— Не может быть.

Семья дяди состояла, кроме него, из шести человек, которых он содержал, торгуя в местной бакалейной лавке. Рабочий день дяди продолжался долго, потому что он состоял еще и секретарем общества "Беспроцентные ссуды" и членом правления "Биккур холим"³⁷. Гершуни был последователем Гринбойма, а его жена Соня пела в хоре территориалистов³⁸. В эти дни она вместе с другими членами хора сбилась с ног, обходя дома и собирая в фонд обороны Польши медные предметы.

Утром 6 сентября перед восходом солнца глава семьи позвал двух старших детей, Митека и Тосю, и велел им покинуть Варшаву. Этот осторожный человек, который, бывало, не позволял никому из своих пятерых детей выезжать за город, так

что ежегодная поездка в летний молодежный лагерь превращалась в изнурительную битву, — теперь торопил их уйти, не тратя время на прощание. Он дал Митеку три записки: к родственникам в Белостоке, к дальней родне в Вильно и к брату отца, с которым не переписывался 20 лет и который был "каким-то важным комиссаром в Минске".

— Идите как можно быстрее, и, главное — на восток! — сказал он. Дети не узнавали в этом резком, решительном человеке отца.

— Мы двинемся за вами, — обещал он, имея в виду, кроме себя и жены, двух младших сыновей, учеников гимназии "Тарбут", и Сариньку, которая только что окончила начальную школу. Назавтра дядя послал жену в Отвоцк к некоему Квятковскому, предлагая тому купить их магазин за символическую цену, и уже приготовился "собрать самое необходимое", как его свалил с ног приступ почечной болезни. Тося, по виду настоящая шикса³⁹, отправилась в то же утро в путь. Митек задержался на сутки, чтобы собрать группу из халуцим. Он так спешил, что не мог зайти домой попрощаться. В тот момент он не знал, что больше никогда не увидит никого из близких.

Двора пришла в Варшаву, чтобы разыскать своего брата, который уже год жил в одном из кибуцов "Хахшары"⁴⁰ и ждал очереди на получение сертификата на въезд в Палестину. В последний Песах⁴¹ он гостил дома и признался Дворе по секрету, что у него есть подруга, с которой они еще до осени вместе уедут в Эрец-Исраэль.

Двора рассчитывала найти брата в общежитии халуцим. Дорога от предместья Праги до дома № 12 на Рымарской улице заняла четыре часа. За это время три раза ревели сирены и улицы на глазах превращались в руины. Растерянность и паника были в затравленных взглядах бегущих людей. Хрустело под ногами разбитое стекло

окон и витрин — целое море разбитого стекла...

Большая вывеска книжного магазина, на которой были выведены еврейские буквы, висела на одном гвозде, двери были содраны с петель. Как это ни странно, в помещении разоренного магазина были люди. В то время, в начале Большой войны, еще верили, что бомба дважды не попадает в одно и то же место. Несколько евреев играли при свече в карты. Двора подошла к ним, перешагнула через груды разбросанных книг. Захваченные игрой люди не заметили, как она вошла.

На ее вопрос — где найти шомрим — отозвался один из наблюдавших за игрой. "Во дворе напротив. Их еще не разбомбили".

Общежитие было пусто. Во дворе, в золе погасшего костра торчали обгоревшие клочки бумаг. В комнатах валялись ленты из цветного крепа и всякий декоративный материал. Лишь на стенах по-прежнему висели портреты Бреннера⁴², Бялика⁴³, Герцля и Борохова⁴⁴, по два с каждой стороны, а между ними — вид озера Киннерет. В соседней комнате перед открытым шкафом стоял молодой человек.

Он брал из шкафа книги, каждую просматривал и либо бросал в стоявший на полу мешок, либо ставил обратно на полку. Видно было, что он очень взволнован, словно навеки расставался с родными людьми.

Двора спросила незнакомца, не знает ли он, где можно найти Яшина. Оказалось, что брат покинул город и ушел — наверное по направлению к Бресту. Все взрослые решили уйти из Варшавы. Прежде всего они попробуют перейти румынскую границу или пойдут на восток, в районы, занятые советскими войсками.

Молодой человек был невысокого роста, лет двадцати. Двору он не удостоил взглядом.

— В Лешно, — сказал он, — есть еще группа из

Калиша. Они собираются выходить к Ровно. С ними у вас есть шанс встретить Яшина. — Вдруг он подозрительно посмотрел на нее: — А вы действительно сестра Яшина?

Двора улыбнулась белозубой улыбкой и протянула руку:

— Меня зовут Двора.

— Шмуэль.

— У вас в руках, случайно, не знамя? — не сдержала она любопытства.

— Да, это знамя движения.

— Так почему же вы закутываетесь в знамя как в талес? — засмеялась она.

— Да вот, пытаюсь обернуть его вокруг тела. Мы возьмем его с собой. Может быть, оно поможет нам попасть туда, куда стремимся.

Стояла чудесная польская осень. Лесные опушки светились лиловым сиянием. Оттесненная на обочину дороги, беспомощная, как щепка в потоке, Двора могла вдоволь любоваться открывшимся перед ней видом. Под голыми каштанами шуршали груды желтых листьев. Другие деревья стояли еще зелеными, вокруг было полно лесных цветов. Из-за плетней качали головами еще не собранные подсолнечники. Природа, казалось, позаботилась о том, чтобы не все умерло сразу.

Тяжело, со свистом, дыша, отдыхали, привалившись спиной к чемоданам, старики и старухи. Кто вовремя не вставал, оказывался на краю откоса. Внизу текли сточные воды. Время от времени воздух разрывал крик ужаса — кто-то оступился и упал в зловонный поток, а люди наверху продолжали идти вперед. Все шоссе от Варшавы до Львова было забито беженцами. Кого там только не было! Шли семьями крестьяне со связанным в узлы добром, с коровой на поводу. Ехали в закрытых экипажах богатые торговцы, прикрыв меховой полостью ноги; на козлах некоторых из них восседал кучер в

форменной фуражке. Деревенская аристократия — верхом. Интеллигенты, монахи и спортсмены — на велосипедах. Гудели перегруженные грузовики, автомобили с корзинами на крышах; мотоциклы с трудом прокладывали себе путь сквозь лавину пешеходов.

Потом направление человеческого потока изменилось. Часть его текла прочь от Варшавы и западных городов, часть двигалась в противоположном направлении. Польша захвачена, мессершмиты перестали преследовать беженцев, и движение сразу же стало двусторонним. Все больше евреев стало двигаться на восток.

Евреи из местечек ехали на телегах. В передней части имущество — чемоданы, перины. Очень много перин. Сидели, в основном, старики, дети и беременные женщины. Рядом, по обе стороны от телег, шли мужчины и молодежь. Некоторые только встали с больничной койки, вышли из операционных. Были и полупарализованные, и такие, которые шли, держась за сердце, судорожно вытянув шею. На каждом перекрестке в этот поток вливались новые беженцы. Поток евреев все разбухал. Больше всего было пешеходов. Они шли молча. На шоссе между Бендзином и Пиньчувом — лежали вперемешку обгорелые трупы, остовы автобусов, мотоциклов, чемоданы с вывороченным содержимым. Здесь застала людей смертоносная бомбежка, один из тех налетов, которыми немецкие летчики просто забавлялись, без военной цели. Поток, не останавливаясь, неся дальше, лица — равнодушные, отрешенные. Дрогнули только при виде опрокинутых детских колясок. Подошли, поставили коляски на колеса, осмотрелись — нет ли поблизости младенцев, потом отвезли коляски на обочину, поставили рядом, как на параде, — числом одиннадцать — и разрыдались. Плач заразителен, и вскоре он перешел в протяжный вой, потом люди сказали

себе: все это уже дело прошлое. Рыдания оборвались, и людская лавина покатилась дальше.

— Еврейский народ снова взял посох странника, — заметил адвокат Рубинчик.

— Ну да: опять "лех-леха"⁴⁵, — поддержал его кто-то из Пиньчува и, помолчав, добавил: — Три ночи назад является мне вдруг во сне дед и говорит: "Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего". А я и не понял, почему вдруг такие слова, ведь я — не Авраам! Но, видно, и Авраам в свое время тоже не понял, и отсюда все беды.

Что он имел в виду, этот человек не объяснил. А горизонт над головами людей почернел от густого дыма.

Они держались все вместе, вчетвером, и толпа не могла разлучить их днем, а ночью холод заставлял прижиматься друг к другу. Это были: Двора и ее двоюродная сестра Тося из Варшавы, Зерах из Калиша и Давид из Пиньчува. И Двора полюбила Давида.

— Это горит Пиньчув, — определил еще издали Давид. Они увидели, что место, куда они шли, окутано пламенем и дымом. — Немцы опередили нас, — добавил Давид. Но сердце отказывалось верить: стоило мучиться две недели, пройти пешком вдоль всего Кельцкого воеводства, чтобы упереться в стену огня!

Чем ближе они подходили, тем отчетливей видели пламя, и не оставалось сомнений — горел Пиньчув. Немцы уже стали наводить там свои порядки, и было бы безумием идти сейчас в этот город.

Перед Бендзином они попали в тяжелый обстрел. Часть пути Двора несла свой чемодан, прижав его к груди. Измучившись от ходьбы по бороздам вспаханного поля, она бросила чемодан и налегке побежала к лесу. Увидела, что Давид вернулся,

поднял ее чемодан и понес на плече, вместе со своим. Тропинка от шоссе к лесу была усеяна трупами. Хрипели раненые. Двора сказала:

— Давид, брось чемодан. Я об этих тряпках уже не думаю.

— Но ведь эти вещи ты приготовила, чтобы ехать в Эрец-Исраэль? — Он связал чемоданы веревкой, повесил на плечи и улыбнулся: — Рано нам еще сдаваться, а?

Подошли к мосту. Вечерело. Они решили было, что свою порцию бомбежек получили сполна, как вдруг из-за холма появился немецкий боевой самолет. Пикируя, он поливал из пулемета столпившихся на мосту беженцев. За ним появились тяжелые бомбардировщики. Их мишенью был мост. Двора упала, зарываясь лицом во вспаханную землю, закрыв руками уши и затылок. Это немного спасало от крика людей и рева животных, но не от свиста пуль, взрывающих землю у самых рук и приближавшихся к голове. И тут случилось нечто такое, что позже стало предметом шуток, но в тот момент заставило ее пережить чувство конца. Что-то тяжелое придавило ей спину, затылок и голову. Минуты на две глаза Дворы закрылись, остановилось дыхание.

— Ты с ума сошел! — закричала она, поняв, что это Давид прикрыл ее от пуль. — А ну пусти!

Он смутился и поспешно освободил ее. А потом они стояли у входа в охваченный пожаром его родной Пиньчув; Двора понимала, что у него на душе.

— Давид, — она положила руку ему на плечо, — может быть, твоих родителей там нет? Может быть, они успели бежать? стоит ли заходить...?

Он молчал. Другие беженцы уже пошли кружным путем. Со стороны пылающего города показалась санитарная машина. В ее белизне, в самом ее появлении оттуда, из окутанного огнем и черным дымом края, было что-то нереальное. Открылось

окно кабины, и шофер крикнул по-польски:

— Не ходите туда!

Дворе слышался голос отца — так четко, будто он стоял рядом. Отец держал ее за плечи, а она уже спустилась на нижнюю ступеньку. "Дворинька, — сказал отец, — может быть, ты успеешь попрощаться с мамой?" — "Но я могу тогда опоздать на поезд, все мои товарищи уже там. Мы ведь скоро встретимся, правда?" Но сейчас ей на плечи тяжело легли руки Давида:

— Никогда себе не прощу, если пройду мимо родительского дома и не узнаю, что с ними случилось.

— Ну и иди! — Двора сбросила с плеч его руки и расплакалась.

...Рядом с садом у реки рвалась с привязи коза, била копытом в плетень. Подойдя ближе, они разглядели деревянный дом и дверь. Дверь и ставни были плотно закрыты. Постучали. Ответа не было. Но Двора чувствовала, что кто-то смотрит на них сквозь щель в ставне. Потом дверь открылась, и женщина в белом кружевном чепце спросила по-польски:

— Вам что-то нужно?

Субботние свечи горели в медных подсвечниках на покрытом белой скатертью столе. Человек пять макали куски халы в рыбный соус.

— Ты что, не видишь, мамеле, — сказал из комнаты мужской голос, — это же идише киндер!

Женщина тут же уменьшила все порции, чтобы накормить гостей. Тарелок и стульев не хватало, ели по очереди. Только пели все вместе, вполголоса. Дворе перевязали израненные ноги. Их с Давидом оставили ночевать. Отдаленность ли от города была причиной, или суббота одарила своим покоем, но им показалось, будто в этом деревянном домике на краю села не знали, что в мире хозяйничают война и Гитлер.

— А немецкие танки здесь были?

Нет, они не видели немецких танков.

— Чья в деревне власть?

— Чья и была — солтыса⁴⁶.

— Вы решили остаться?

Двора тут же пожалела об этой фразе. Эти люди приняли их так тепло, не спрашивая ни о чем, а после ее вопроса сквозь комнату словно пропустили ток. Старшая замужняя дочь схватила мужа за руку, мальчик лет семнадцати нервно заморгал глазами и приоткрыл рот. Видно, они уже не раз яростно спорили об этом. Отцу семейства было за пятьдесят. У него — мозолистые, с обломанными ногтями руки, загорелая, морщинистая шея и тонкое лицо мыслящего человека. Двора заметила, что лацкан его пиджака надрезан,⁴⁷ обвела взглядом семью — да, у всех на одежде свежий надрез. Кто здесь недавно умер? Может быть, дед? Или сын погиб на фронте?

Отец поднял брови и посмотрел на Двору долгим, но невидящим взглядом:

— А куда, дочка, евреям деваться?

Снаружи раздались глухие удары. Двора вздрогнула. Но это опять била копытом об плетень коза.

...В Бендзине друзья Давида жгли списки членов движения. Книги, брошюры и альбомы складывали в ящики и прятали в тайник. В Жарках, рядом с Бендзином, евреев обвинили в том, что они сигнализировали польским самолетам, которые, кстати, здесь и не появлялись. Сожгли синагогу, а триста мужчин, по слухам, угнали в Германию. Друзья Давида решили спасти от оккупации молодежь постарше, а для работы с детьми оставить девушек.

Через несколько дней будет создан Еврейский совет — Юденрат⁴⁸ — во главе с Манеком Мариным.

Цви предупреждал: "Марин — это воплощенное зло".

С самого лета Цви чувствовал, что надвигается что-то страшное. Он оставил летний лагерь в горах и ездил по киббуцам, расположенным в Калише и Заглобье. Торопил всех с алией, сердился, что она, самое главное их дело, задерживается из-за разгильдяйства и ненужных формальностей.

В полдень 23 августа, в тот самый час, когда люди с недоумением слушали по радио о договоре между СССР и нацистской Германией, сошел с поезда представитель молодежного сионистского движения из Варшавы. Он привез одиннадцать сертификатов для одиннадцати счастливых. Цви в этом списке не было.

Жарки, его родное местечко, расположено между Ченстоховом и Бендзином. Из пяти тысяч жителей евреев было больше трех тысяч. Окончив хедер рабби Пинхаса, Цви должен был, как многие молодые люди в Жарках, решить, к какому хасидскому двору примкнуть, — из тех, что заправляли от Гура до Александрува и от Скринича до Радомска. Как ни малó было местечко, но покоилась на нем благодать славного в Израиле адмора⁴⁹ из Триска. Однако неведомы пути духа! В Жарках нашелся простор и для других устремлений: были созданы курсы Хахшары, где и во времена гитлеровского нашествия хранили огонек надежды.

Цви отошел от религии, но некоторые из мицвот⁵⁰ соблюдал. Он был одним из главных инструкторов движения Ха-шомер ха-цаир, члены которого исполняли часть писанных и неписанных заповедей Торы. Ростом Цви был гораздо ниже многих своих воспитанников, но они скоро признали его настоящим своим командиром.

Местечко Жарки стоит у начала старой дороги, по-польски — Дороги двенадцати орлов. Над ней возвышалось имение графов Потоцких, окруженное стеной. Теплым вечером гулял там Цви со своим

другом Давидом. Сдерживая волнение, вызванное всем происходящим и приездом представителя из Варшавы, Цви сказал:

— Как странно получается иногда! Если бы Штибель не организовал в Жарках публичную библиотеку, открывшую нам окно в широкий мир, я был бы сейчас каким-нибудь бродячим хасидом.

Давид засмеялся.

— А может быть, — кем-то поважнее?

С графского пруда раздавалось истошное кваканье лягушек. Друзья послушали непонятную лягушину речь, и Цви произнес:

— В Эрец-Исраэль, во всяком случае, мне уже не попасть!

Давид стоял у дороги, ведущей в родное местечко, и смотрел на охваченный пламенем Пиньчув. Душа его была в смятении: войти и узнать, что стало с родными, или послушаться плачущей Дворы? Был бы на его месте Цви, он бы знал, как поступить!

Спасаясь от нацистов, Давид, Тося и Шмуэль, Мотек и Двора, а также трое евреев, бежавших из Кракова: Стефи, Польдек и Шимон, — переправились через Буг. Позже к ним присоединились Тамара, Шалом и Фред. Всего их собралось 12 человек: через реку они переплыли на лодке в два приема. Один раз, совсем близко от реки, наткнулись на немецкий патруль.

— Проклятые евреи, — ругался лейтенант, — чего вы ищете у большевиков? Скорей возвращайтесь домой!

— Мы из Замосци, — сказал, растерявшись, Давид, не подумав, что их, действительно, отведут в незнакомый им город Замосць. Когда их ссадили у полицейского участка с машины, был обеденный перерыв и в здании находился только один пожилой солдат. Он спросил:

— Почему вы бежите?

— От страха, — ответила Двора, — потому что хотим жить.

Немец как-то странно посмотрел на нее:

— Жить хотите, — пробормотал он, — да-да, мы тоже хотим жить...

Их отвезли на базарную площадь — разбирать развалины, где, голодные, они работали до темноты. Вместе с ними трудился пожилой, толстый еврей. Он постанывал, тащил большой камень и пыхтел. Шедший мимо солдат с лицом младенца ударил его по голове плетью со свинцовым шариком. У еврея свалилась с головы шляпа, обнажив большую, блестящую от пота лысину. Вид лысины почему-то рассмешил немца, он, смеясь, снова ударил толстяка по голове. Бил его и бил, стараясь попасть в центр лысины и, кажется, хихикнул, когда кровь из раны хлынула струей. Камень выпал из рук жертвы, и человек упал. В ту же ночь, улучив момент, друзья бежали из-под стражи. Давид вдруг остановился и сказал странным голосом:

— Это, значит, произошло здесь. — Он взглянул на висящий над базарной площадью месяц, на их тени, мятущиеся среди пустых прилавков, и произнес всего пять слов: — Бай нахт ойфн алтен марк⁵¹, — и засмеялся смехом человека, разум которого либо помутился, либо, наоборот, внезапно озарился истиной.

Митека Гросса они встретили во Львове. Это он проложил путь в Вильно. У Митека была невеста по имени Хедва. В те времена невест называли подругами. Когда Хедва сказала родителям, что едет в Вильно, отец спросил:

— А что там, в Вильно, есть такого, чего не хватает во Львове?

— Там литовское государство, и есть надежда на алию. Поэтому все стремятся в Вильно.

— А кто эти "все"?

— Халуцим.

Отец сказал:

— Ты имеешь в виду беженцев, молодых людей, не связанных с семьей. А у тебя есть отец и больная мать.

Услышав, что говорят о ней, лежащая после операции в постели мать вмешалась в разговор:

— Как же ты покинешь нас в такое трудное время? Сама неведомо как будешь добираться до Палестины! Неужели это так уж тебе нужно?

— Разве не этому вы сами учили меня?

Отец посмотрел в окно и увидел марширующих с пением красноармейцев, они несли под мышками узелки. К тому времени советская власть уже успела отобрать у отца Хедвы большой мануфактурный магазин на бульваре Яновского... Три его сына были уже женаты, а единственную дочь он все еще считал ребенком. Он вспомнил, как советские войска вошли во Львов в Судный день и как в синагоге узнали об их приходе перед дополнительной молитвой. Сняв таллиты, евреи поодиночке выскользнули на улицу, посмотреть, что происходит. У красноармейцев вместо ранцев были обычные вещевые мешки. Низкорослые, у многих — раскосые глаза. Среди молящихся был беженец из Праги, который сказал: "Хоть и неприглядны большевики, но все же они лучше гитлеровцев". Все молча согласились с ним, вернулись в синагогу и помянули усопших. А молитвы за здоровье правительства не прочли — не было у евреев сейчас правительства, за которое стоило просить Господа. Зато молитву Изкор⁵² прочли, громко рыдая. Громче всех плакали беженцы из Вены и Праги: их принесло во Львов, но потоп настиг их и здесь.

— С кем ты поедешь, дочка? — спросил отец.

— С Митеком.

— Поезжай... Да пребудет с тобой Господь.

В Ковеле они встретили Шмуэля. Он пришел

из Варшавы в Брест и, увидев город в огне, двинулся в Ковель. Не нашлось для него места ни в машине, ни на телеге, и он шел, пока хватало сил, пешком. Увидел слабый свет в затемненном окне. Постучал в ставень, ответа не было. Постучал в дверь — один раз, второй, на третий раз дверь открылась. Шмуэль увидел край черной ермолки и руку в муке выше локтя. Вдохнул запах свежего хлеба и упал на пороге. Очнулся на белой постели, в окружении людей. Ему налили теплого молока, стали расспрашивать. Он увидел, что на него смотрят с удивлением.

— Что это у тебя на теле? — спросил хозяин, пекарь.

— То, что вы видите, — знамя.

— На нем написано "Варшава". Неужели ты пришел из Варшавы?

Шмуэль кивнул. Кроме мужчины, женщины и трех подростков, он увидел молодую девушку.

— Вы шли пешком? — спросила она.

— В основном.

— Одни носят на теле малый таллит, а другие — знамя, — заметил пекарь.

— А куда вы несете знамя? — снова спросила девушка.

— В Эрец-Исраэль.

В комнате воцарилось молчание, было даже слышно, как бьется муха на спускающейся с потолка клейкой бумаге. Жена пекаря аккуратно свернула знамя, положила Шмуэлю в изголовье и прошептала:

— И те и другие страдают за веру.

Пекарь резко сказал:

— А теперь встань, выкупайся, поешь и иди спать. И не забудь, парень, прочитать "Шма Исраэль".

ВОЗВРАЩЕНИЕ ШАУЛЯ

— Федор Григорьевич, вон там, за рекой, мой дом. Шлях проходит прямо перед рощей. Часов семь ходу, не больше.

У майора Федора Григорьевича было обветренное лицо волжского рыбака. Слушая Шауля, он примял раскрошенный сухой лист, выровнял, провел по краю бумажки языком, потом сунул самокрутку в рот и стал озабоченно искать зажигалку.

— Вон там — мой дом, — решив, что майор не расслышал его, повторил Шауль, глядя в тяжелый трофейный бинокль, снятый с немецкого танкиста.

Большим пальцем с обломанным ногтем русский майор тербил винт непослушной зажигалки. Он явно сердился — то ли из-за зажигалки, то ли из-за упрямства этого свихнувшегося еврея.

— Разрешите отлучиться, товарищ командир! — Шауль выпрямился и щелкнул, как положено, каблуками.

Майору, наконец, удалось добыть огонь из коптящей зажигалки, и выражение его лица стало спокойнее. Осторожно, чтобы брызги дождя не попали с веток за шиворот, он потер спину о ствол елки.

— Идиот, вольно! — усмехнулся он добродушно.

— Разрешите отлучиться, Федор Григорьевич! — уже неофициально обратился Шауль, глядя все в том же направлении. Теперь он, стоя на пригорке, просматривал местность невооруженным глазом. Партизанская плащ-палатка на его плечах намочла от дождя и отливала тусклой бронзой.

На фоне зимнего предрассветного неба голова Шауля с шапкой кудрявых волос и четким профилем напомнила майору чей-то знакомый образ. "Вылитый Пушкин!" — изумленно пробормотал Федор Григорьевич. Его охватила жалость

к этому кудрявому парню.

— Там немец, — сказал он, не спуская с Шауля глаз.

— Немец, позвольте заметить, везде. Но только там, в том месте — моя мать. — Ему показалось, что сказал это слишком резко и он добавил:

— Поймите, я ушел на войну, а она, больная, осталась одна.

— Будто ты не знаешь, что за это время здесь случилось с евреями.

Шауль сжал губы и промолчал. Майор надвинул меховую шапку на лоб, почесал в затылке и мечтательно произнес:

— Не успеет пройти зима, как наш отряд превратится в настоящий полк. А на следующую зиму — в мощную армию. Все стоящие парни от Днепра до Двины встанут против фашистов и придут к нам. Посмотришь — через год в это время "федоровцев" будет тысяч десять, не меньше. Никогда не забуду, как мы, двенадцать человек, шли болотами. Как все наши погибли, и только мы с тобой остались в живых, и как ты первый пошел за мной в тыл врага, когда я был там один, точно затравленный зверь. В годовщину Великой Октябрьской революции получишь орден Красного Знамени.

Шауль взволнованно развел руками:

— Федор Григорьевич, я и не знал, что вы меня представили...

— А теперь ты собираешься дезертировать, предать нас.

— Федор Григорьевич! — отпрянул Шауль, как ужаленный, — я же прошу только разрешения узнать, что с матерью. Тут же вернусь. Может быть, еще и брата приведу.

У майора — мощное тело, широкая кость, затылок, как у быка. На обветренном лице — голубые, детские глаза. Из-за коротких ног походка враскачку, как у матроса. Был комвзвода

у Буденного. Во время поспешного отступления полк, в котором он служил, попал в плен. Помощник командира полка, после того, как командир погиб, повел тысячи бойцов напрямик в плен. Труден и опасен был побег из вражеского плена, но оказалось, что есть еще одна, даже бóльшая опасность — враждебность собственного народа. От Федора отшатывались, пугаясь его намерения идти в лес, чтобы бить немцев у них в тылу. Изредка кое-кто из крестьян решался открыть дверь, дать кусок хлеба и миску щей, но большинство бывших советских людей быстро приспособилось к жизни под немцем — кто от страха, а для кого это оказалось и выгодным.

— А я тебе говорю, что ты идешь на предательство, — голос майора был глухим и суровым.

Шауль побледнел, хотел возразить, но майор его не слушал:

— Язык твой — перед тем как гестапо вырвет его раскаленными щипцами — выдаст все, что ты знаешь, — и обо мне, и об отряде, и о твоей маме. Он закрыл лицо руками. Потрясенный Шауль опустил на пень. — И не вздумай плакать. Ты ведь партизан! Да хоть залейся слезами — не пушу.

Но Шауль не плакал. Он твердо решил, что пойдет немедленно. Но как это сделать, не нарушив приказа? Попроситься в другой отряд и в это время ускользнуть в родное местечко? Но как обмануть человека, который ему за родного брата?...

— А что бы вы сами, Федор Григорьевич, сделали на моем месте? Если бы это ваша мать была здесь, в двух шагах? Вы бы не постарались спасти ее? Ведь потом всю жизнь не простишь себе!

— Да чем ты ей поможешь, скажи!?

— Не знаю. Тем, что она меня увидит, что прикоснется ко мне, увидит, что я жив, — сказал

Шауль с робкой улыбкой: сердцем он уже почувствовал, что командир соглашается.

— Но провожатого не получишь, так и знай!

— И не надо, Федор Григорьевич! — выпалил Шауль взволнованно.

— Что значит "не надо"! Васька и Андрей проводят тебя к реке, до спуска. Дальше пойдешь один, на свой риск.

Шауль вскочил. Пожал майору руку. Козырнул. Вернулся и пожал обе руки. Майор добавил:

— Черт тебя возьми, если попадешься убийцам! Помни, что я тебе сказал!

Так случилось, что Шауль добрался до своего дома. Но никого из родных он там не нашел и направился в большой город, куда немцы согнали евреев из окрестных местечек и сел. Еврейское население города составляло семьдесят тысяч душ, но сейчас их не было ни на узких улицах, ни на проспектах, ни на базарах: не стало слышно галдежа торговых сделок, шума мастерских.

Шауль пришел на берег реки, где прежде жил простой люд, где стояли низенькие дома с крышами, похожими на нахлобученные шапки извозчиков, дремлющих на козлах, и всегда слышались крики и смех еврейских детей. Вспомнил бои с шейгецами⁵³, — те на одном берегу, а мы на другом; оружие — рогатка. Уроки готовили в тесных комнатушках по углам или на подоконниках. Но не было в этих местах ребенка, который сказал бы учителю: "Я не выучил урока, потому что мне негде заниматься".

Он увидел в переулке ступеньки, по которым ходил вниз и вверх восемь лет подряд — сначала из дома деда в начальную школу Элишевы Эпштейн, а потом в еврейскую гимназию Тарбут. Дорога занимала час, он сокращал ее пробежками и прыжками, размахивая над головой портфелем. Оторвавшись от картин прошлого и не глядя больше по сторонам, он подошел к воротам

гетто.

Вдоль улицы, спускающейся к гетто, протянулась длинная вереница людей, многие — явно изнуренные тяжелой работой, холодом и болезнями. Непонятно, почему им не давали войти, — ворота были открыты, полицейские на местах. Там, где власть немцев, — никто ничего не объясняет. Вне гетто распоряжаются немцы вместе с литовцами и украинцами, а внутри — полицейские-евреи. Хлопья снега на плечах и фуражках скрывают мундиры и знаки различия. Все, кто здесь командуют, — здоровенные парни, всегда готовые избивать беззащитных. Они прохаживаются с хозяйским видом, тонкий лед хрустит под их новыми сапогами.

На столбе перед воротами зажегся фонарь. Темнота сгустилась. Шаулю больше не видно было лиц людей, закутанных до ушей всяким тряпьем. Заметен был лишь пар изо ртов. Свет от единственного фонаря распадался на отдельные лучи, в них крутились снежинки, словно обреченные на гибель ночные бабочки.

Год назад и он так стоял у ворот Варшавского гетто вместе с другими измученными и испуганными обитателями Горохова, халуцианской усадьбы. Им обещали, что усадьбу не тронут, и они поверили. Домой он возвращался только на ночь. Как-то в субботу утром польская полиция окружила дом. Повинуясь уже выработанному рефлексу, Шауль спрыгнул с балкона, хотя был в одном белье. В него стреляли, но промахнулись. Он вернулся и снова проник в дом. Потом всем обитателям Горохова, кроме хозяина-арийца, велено было за 15 минут собраться и, соблюдая порядок, идти в Варшавское гетто. И они, молодые халуцим, поспешно оделись, вышли на улицу и двинулись в путь. Всю дорогу их преследовали слухи. Говорили, что в гетто — никакой еды, что немцы решили их уморить голодом. Невыносимей всего был слух о том, что

их ведут не в Варшаву, а куда-то дальше. Кто-то предположил, что их просто утопят в Висле. Возникла мысль — пока их не сдали гестапо в Варшаве, подкупить "синих" и бежать. Но куда бежать, и как побегут девушки? Рухча из Лодзи, у которой был опыт гетто и побегов, набралась храбрости и вернулась в усадьбу — взять забытый там кибуцный пропуск. Она спрятала пропуск на груди, как когда-то, в годы хмельниччины, ее предки уносили спасенные из огня листы Торы. Польские полицейские заподозрили, что еврейка прячет золото и серебро, и избili ее в кровь. Видеть лицо Рухчи, покрытое грязью и кровью, было для Шауля испытанием, более тяжелым, чем скитания по лесам и чужим селам, голод и одиночество.

В тот же вечер ему удалось бежать. Он уже вышел из города, а его все еще преследовали картины пережитого. И — голоса; только вошли они в гетто, как услышали вопли: "Хлеба, хлеба! Умираю от голода!" Кричали и взрослые, и дети. Лица желтые, осунувшиеся. Бледный, еле стоящий на ногах ешиботник протягивал котомку и просил: "Дайте хоть кусочек, хоть кусочек!" Шауль отломил кусок от своей буханки и дал ешиботнику. Тут же его со всех сторон окружили дети, подростки и старики. Эти крики... Шауль сунул остаток буханки в протянутые руки и зажмурил глаза от ужаса, потому что разгоревшаяся из-за хлеба битва была дикой и отчаянно жестокой.

Три месяца он скитался по дорогам. Две недели его прятала у себя незнакомая ему прежде крестьянская семья. Там, грея у печки замерзшие руки, он заметил над притолокой портрет солдата: рама, стекло и напряженный взгляд. "Сын?". — "Да". Услышал за спиной рыдания матери. Решил, что сын умер, сказали нет, пропал без вести. Он объяснил, что если их сын служил в 241-м уланском полку, то он, наверное, в плену:

большинство улан попало в плен. Кажется, он узнаёт парня, видел его в лагере для военнопленных перед отправкой в Германию. Хозяева, конечно, заподозрили, что Шауль все это говорит, чтобы успокоить их. Почувствовав их недоверие, он подробно описал бой, плен, свой побег и снова стал уговаривать — не надо оплакивать человека, пока идет война. Не все, от кого нет писем и о ком сообщили — "пропал без вести", и в самом деле пропали. Неведомы пути войны и Провидения, иногда происходят чудеса.

Такое чудо произошло с самим Шаулем. У него было немного денег, он хотел отдать их приютившим его людям, но они не взяли ни копейки. Кормили его, дали ночлег, подарили пальто и теплые носки, предложили остаться у них работником и даже достали нужные документы. Но на четырнадцатый день, в воскресенье, когда вся семья была в церкви, польская полиция и эсэсовцы окружили дом. Шауль вовремя выглянул из окна на дорогу, поспешно вышел через черный ход и спрятался на дереве. Из своего укрытия он видел, как солдаты перевернули весь дом, как рылись в сарае. Поджидая хозяев из церкви, поставили засаду у дома. Когда крестьянина арестовали, женщины набросились на полицейских, чуть не выцарапали им глаза. Их с трудом оттащили и избили, а крестьянина увели, и Шауль так и не узнал о его дальнейшей судьбе. Он потихоньку слез с дерева и спрятался в кустах, собираясь перед уходом, к вечеру, зайти в дом узнать, чем все кончилось, и поблагодарить своих спасителей. Дважды пытался Шауль войти в дом, да так и не осмелился. Он пошел, не оглядываясь, к большим озерам и шел без отдыха два дня и две ночи. Ни в чем не был виноват Шауль, но чувство вины за то, что из-за него попали в беду приютившие его люди, раскаленным камнем жгло его сердце.

На третьи сутки он встретил трех поляков — двух мужчин и девушку, — которые решили попытаться перейти чехословацкую границу. Так Шауль попал в Чехословакию, откуда еще был выход в свободный мир. Тут молодые халуцим еще мечтали о выезде в Эрец-Исраэль. Он добрался до родной деревушки, связался с нужными людьми и сообщил о судьбе евреев в оккупации. Особенно ярко обрисовал он ужасы гетто Лодзи и Варшавы, рассказал подробно о том, что видел между Варгой и Вислой. Не скрыл ничего — пусть сообщат дальше, за границу, пусть узнает весь мир! Его убеждали остаться, и он едва не уступил уговорам. Но как-то ночью не выдержал и ушел. Вернулся в Варшаву, чтобы сообщить здесь о том, что через горы можно выйти на свободу и смелые могут попытаться. Но в гетто не вошел, так как ему подвернулась возможность добраться до своей семьи, ради чего он и вернулся в Польшу. Шауль созвал активистов движения, чтобы рассказать о пути через границу и предостеречь от опасностей, которые могут их ожидать. Встреча была назначена у варшавского кладбища в Генсе. Ожидая друзей, Шауль бродил по кладбищу. Увидев большое надгробье с увядшими цветами, он подошел и прочел выбитые на камне стихи: "Ун эс азой геен мир зингиндик ун танцендик, мир шабесдики идн"...⁵⁴ Шауль понял, что перед ним могила И.Л.Переца. Потом он встретился с группой халуцим, бежавших из гетто, объяснил им, как можно перебраться за границу, огорчился, что готовых на такой путь оказалось совсем немного; очень обрадовался, увидев Рухчу. Шауль помнил, как настрадалась она в Лодзи, как мужественно держалась в Горохове. Он обнял ее и сказал: "Шалом!" — "Пойдешь с нами?" — спросила она, но он ответил: "Я ишу мать и брата".

Граница между оккупированной немцами частью

Польшы и территорией, занятой советскими войсками, проходила по реке Буг. Шауль направился в долину Буга. Добрался безо всяких сложностей, потому что у него были документы, которые раздобыли его спасители-крестьяне, а отпущенные усы изменили его внешность. Теперь он уже не пробирался тайными тропами, а ездил в поездах. То, что он увидел, привело его в ужас.

Но то, что было достаточно для немцев, привыкших уважать подписи и печати с орлом и свастикой, недостаточно было для советских энкаведешников. Эти охотники за шпионами относились подозрительно и к еврейским беженцам, у которых, конечно, не было других забот, кроме как шпионить против Советского Союза. Прочесывая местность, войска НКВД схватили Шауля и отправили сначала в одну тюрьму, потом в другую. Посадили против яркой лампы, которая целый день слепила ему глаза, — чтобы признался, что находится в Советской стране для шпионажа и диверсий.

Во львовской тюрьме Шауль познакомился с парнем, вся вина которого состояла в том, что он был членом подпольного кружка шомрим, в котором пели песни на иврите и декламировали стихи Иехуды ха-Леви:⁵⁵ "Разве ты не спросишь, Сион, о своих узниках?". Парень рассказал все, что знал про собрания и стихи, но у него продолжали допытываться — чем он еще занимался. Он снова все рассказал, и ему снова не поверили и снова допрашивали. Тогда он признался, наконец, и в том, чего не делал, и ему снова не поверили. Заставили рассказать о его товарищах и подругах, сторонниках и руководителях, о тех, кто дал ему во вражеском государстве задания. Приказали переписать четким почерком все имена с адресами и поставить свою подпись. Он затряс отрицательно головой, поскольку его разбитые и распухшие губы не шевелились. Тогда ему дали 10 лет —

вполне умеренное наказание для такого опасного шпиона. Но со временем, от своей российской щедрости, добавили еще 12 лет. Звали этого парня, с которым Шауль сидел в первой своей камере, Мейтеком. Катастрофа еврейского народа его миновала, но не миновали страдания в тюрьмах и лагерях в Советском Союзе. Если бы не смерть Сталина, провел бы он в сибирских лагерях 22 года; но и так вся его молодость прошла в заключении.

А Шауля освободили... немецкие бомбардировщики, потому что тюремщики разбежались в панике кто куда, как только началась бомбежка. Случилось это в самый первый день войны Гитлера против России, еще до ее официального объявления. И снова потекли потоки перепуганных людей; Шауль отделился от них и, идя один по чужим полям, дошел до столицы Белоруссии — Минска.

К этому времени большинство людей в оккупированных областях поладили с нацистами, но некоторые все еще метались, попадая из огня, да в полымя. В такой водоворот бегущих попал Шауль, оказавшись в Белоруссии. Тогда же евреям был отдан приказ собраться в гетто.

Шауль смотрел на минских евреев, которые, как перед тем евреи Лодзи и Варшавы, пошли стройными рядами в западню. Никто не пробовал погрозить кулаком или затопать ногами. Шауль сказал себе: будь что будет, но я с ними не пойду. Днем он прятался, ночью шел по полям и лесам. И не было у него в этом мире никого и ничего — лишь брошенное русским солдатом ружье без штыка да пять патронов. Он соскоблил со ствола ржавчину, протер каждый патрон так бережно, словно нашел в грязи пять бриллиантов. Один из патронов был холостым, но Шауль этого не знал, когда заряжал ружье в первый раз, и это спасло его от греха.

Молодой месяц прятался в соломенных крышах хутора, стоявшего между болотом и рошей. Шауль вдруг заметил человека. Различил немецкий мундир и тут же взвел курок, целясь в блеснувшую на груди пуговицу. Щелкнул затвор, но выстрела не последовало. В тот же момент кровь ударила Шаулю в голову — он понял, что ошибся: только куртка незнакомца была, как видно, с немецкого плеча, все остальное, включая физиономию, было совсем не немецкое.

— Стой, кто идет? — крикнул в замешательстве Шауль.

— Советский человек, — ответил тот и подошел ближе. Шауль заметил, что кобура у него на боку открыта, но пистолет не вынут. Незнакомец, невысокий, коренастый человек лет сорока, властным тоном спросил:

— А вы кто такой?

— Человек,⁵⁶ — Шауль не подумал, как странно звучит его ответ. Они спустились навстречу друг другу с песчаных пригорков и неожиданно столкнулись, едва не ударившись лбами. Мгновение они стояли, настороженно глядя друг на друга. Широкие плечи русского вдруг затряслись — его рассмешило простое слово "человек". Он повторил его несколько раз, словно желая проникнуть в его сокровенный смысл:

— Человек? Ха-ха-ха! Просто человек, без всяких?!

Перестав смеяться, незнакомец сказал внушительно:

— За такой ответ, господин человек, у нас ставят к стенке.

Беглый узник Шауль, чудом спасшийся из двух гетто, еще недавно сидевший, униженный и отчаявшийся, перед следователем НКВД, заподозрил ловушку. Он нервно провел по волосам и процедил, сдерживая ярость:

— А ну, попробуй!

Будущий командир партизанского отряда посмотрел внимательно на молодого человека, который стоял перед ним с решительным видом, прижав к себе опущенное дулом вниз ружье.

— Еврей?

Шауль кивнул.

— Федор Григорьевич, — протянул русский руку, — я считаю, что глупо тратить пулю на товарища по оружию!

— Эта очередь никогда не кончится, — шептал Шауль. К воротам гетто все подходили группы людей, возвращающихся с работы. Человеческая масса, разбухшая, как тесто, заполнила улицу и застыла. Ни одного движения в этой толпе — снег, скопившись на платках и шапках, падал на неподвижные плечи, оседал на ресницах, на усах, на бородах. Неужели это плечи живых людей? Немая масса была похожа на изгородь из кустов, подрезанных квадратом, придавленную к земле тяжестью снега. И дома по обе стороны улицы придавлены и осели. Шауль чувствовал, как и его сердце застывало, точно холодный тяжелый камень.

Раздалась команда, и масса двинулась к воротам. Команда поднять руки. Проверяют инструмент. Шарят по телу. Ищут — не спрятано ли что-нибудь под рубашкой. В трусах? Картошка, маргарин? А может быть, мясо, а? Отдайте добровольно, а не то... Полицейский надтреснутым низким голосом придирался к проходящим мимо женщинам с застывшими от страха лицами. "А ну откройте пальто пошире, мадам. Ага! Сказано было: отдайте добровольно, теперь не жалуйтесь!" Женщина молила: дети голодны... Удар дубинки швыряет ее на землю. Ее тащат прочь, прочь...

Немцы — сержант и лейтенант СС — не участвуют в обыске, стоят в стороне. Все совершается руками украинцев и литовцев. Полицейские-евреи к своим собратьям относились особенно

придирчиво, старались показать свою исполнительность и верность немцам. Реб Залман Рогов, чтобы не подвергать неприятностям своего сына-полицейского, остерегался до сих пор связываться с контрабандой. Но сосед упросил его пронести хлеб для детей. Сам-то сосед не в силах преодолеть страха перед полицией, но все же выменял подсвечники на хлеб. Реб Залман спрятал буханки на спине: может же быть у еврея горб! Но не так считал его сын, полицейский с хриплым грубым голосом и знаком отличия на фуражке — серебряной лентой. В этот вечер было его дежурство. Видимо, он на миг заколебался — дубинка застыла в воздухе, люди вокруг насторожились, затаили дыхание. А увидев сбитого с ног Залмана Рогова, которого сын злобно колотил по поддельному горбу и по затылку, возмутились.

Женщины всплеснули руками и заголосили: "И это — еврей? Да как же ты мог поднять палку на отца? У тебя что — совсем нет сердца?". Полицейский ответил:

— У нашего горла — острый нож. Нам никого нельзя жалеть.

Шаулю удалось найти мать. Его привели в густо заселенный подвал на Столярной улице. Четыре или пять семей заполнили жизненное пространство. Он боялся, что мать не узнает его — война оставила на его лице свой след. После карцера на затылке не заживали нарывы. Он отрастил большие усы. Но мать сразу обвинила его голову руками: чего не рассмотрели глаза, узнал слух. Ее взволнованное, осунувшееся и покрытое сетью морщин лицо казалось помолодевшим от радости и стало прекрасным.

— Ни минуты, — бормотала она, — не переставала я верить. Я знала — мой Шулик жив и вернется ко мне. Но ради Бога — почему это длилось так долго? — Он отвел ее руки со своего лица и крепко обнял. Только теперь заметил он, как

пульсирует у нее на лбу вена. Казалось, мать рыдает, но ее глаза были сухи. — Теперь, когда ты вернулся, вернется, если будет угодно Господу, и твой отец, и Вельвеле! — Вельвеле, племянник Шауля, попал в облаву на улице и исчез еще перед тем, как было создано гетто.

С появлением Шауля люди, лежавшие на расставленных вдоль стен скамейках и расстеленных по всему полу матрацах, беспокойно заворочались. Но поняв, что произошло, они перестали ворчать и, перебивая друг друга, поздравляли мать с приездом сына. Радуясь встрече Шауля с матерью, вспоминали о пропавших и убитых и проклинали немцев. Потом все голоса заглушили рыдания Генды Султаник.

Пятерых детей Генды, бывшей хозяйки галантерейного магазина, схватили в тот день, в тот "черный четверг", когда всех евреев согнали в гетто. Мужчина, лежащий рядом с Гендой, встал в одном белье с постели и, осторожно переступая тонкими ногами через головы спящих, направился к стоящему за дверью ведру.

— Аншель Султаник, — представился он на обратном пути, кладя руку на плечо Шауля. — Это счастье твое и твоей матери, что ты вернулся. Что бы ни случилось, а мы тут все свои.

Уже неделя, как брат Шауля Хаим-Ойзер лежал в больнице, в дизентерийном отделении. Только тифозное отделение больницы удалось скрыть от глаз немцев. Шауль еще не знал, что будет делать дальше, отложил решение до выздоровления брата. Но руководство гетто получило приказ: подготовить транспорт числом в две тысячи человек старше шестидесяти лет. Случилось чудо — мать Шауля не взяли — по ошибке ее имя не вычеркнули из списка тех, кто еще имел право на жизнь. Пятнадцатого числа стариков увезли. Ходили слухи, что для них, как для нетрудового элемента, создан особый инвалидный лагерь. А

восемнадцатого числа гестапо обследовало больницу. Тифозное отделение не было обнаружено, а Хаима-Ойзера, вместе с другими дизентерийными больными, лежавшими в коридоре, погрузили на машины и увезли. Следующая волна смела детей. У Генды и Аншеля Султаников было трое внуков, детей старшего из сыновей, схваченного во время облавы магистра юридических наук. Пятилетние близнецы Муреле и Минеле остались с матерью, невесткой Султаников. Старший, восьмилетний Илюшенька, присматривал за близнецами, пока мать была на работе. Каждое утро с восходом солнца она шла на аэродром, расположенный на окраине города. Работа тяжелая, но мать была счастлива: на аэродроме давали суп с кусочками мяса. Работникам таких привилегированных мест официально разрешалось носить в гетто кастрюлю с супом. Двадцать пятого числа Соня на работу не вышла — в тот день проводилась детская акция. Дети были грустны, и мать тоже огорчалась — им в этот день не достался питательный суп с кусочками мяса.

Вот как описал "детскую акцию" в своей тетради Шауль, чтобы память о ней сохранилась навечно. С вечера уполномоченные Юденрата обошли семьи с детьми и сообщили: по распоряжению властей для детей тех, кто работает, создан детский лагерь. В первую очередь обслужат детей, чьи родители работают на армию. Комендант (еврей) приказал переписать всех детей младше четырнадцати лет, чтобы не допустить, как он выразился, никакой дискриминации.

А у Сони Султаник трое: восьмилетний Илюша и пятилетние близнецы Муреле и Минеле. Мать одела их в самую лучшую одежду, какая только осталась, выстирав ее еще накануне. Завязала Минеле волосы голубой лентой. Свекровь помогала ей, прятала поглубже в карманы детей приготовленные ею лакомства. Приказ властей — продуктов

с собой не приносить. Каждый берет только полотенце, кусочек мыла и, у кого есть, гребенку. В гетто нет магазинов, невозможно купить самое необходимое, и если гребенка осталась без зубцов — это так же невозстановимо, как выпавшие у людей зубы. Но Султаники припрятали кое-что из своего бывшего магазина, в том числе и гребни, так как им было известно, что странник, идущий в незнакомое место, должен позаботиться о гребне для волос, как заботятся о хлебе насущном и об одежде. Гребень, особенно частый, важная вещь в изгнании, потому что вши — Боже сохрани от них! — лишают человека рассудка. В эту ночь матери не спалось. К утру она решила: близнецов пошлю, а Илюшу оставляю. Но полицейские сказали: нет, приказ распространяется на всех детей. Попыталась поговорить с одним офицером, с другим, но оба ей отказали. Послышался детский плач. Подозрение, еще не охватившее взрослых, возможно, уже закралось в сердца детей. Сказано: "Из уст младенцев ты черпаешь смелость"⁵⁷. Не только смелость, но и мужество, потому что при детях проще отгонять от себя ощущение опасности. Комендант, видя, что дети впали в истерику и вот-вот она передастся взрослым, позволил матерям проводить детей до вокзала. Детский лагерь, как было объявлено, находился за городом, в курортном месте, в сосновой роще. Отцам не позволили провожать детей — мужчины, по словам коменданта, должны работать, принимать участие в содержании детей. И мужчины ушли.

Соня проводила своих детей. Правой рукой вела Минеле, левой Муреле, а Илюшенька, старший, шел впереди и нес полотенца и мыло всех троих. Тысячи две еврейских детей, мальчиков и девочек, вышли в тот день из ворот гетто. Все чисто вымытые и опрятные, хоть и в старой одежде. Они двигались длинной чередой по проезжей части

улицы — тротуары предназначались только для арийских ног. Дети давно не бывали в городе и, проходя через шумную площадь, с любопытством смотрели по сторонам; они забыли, что существуют витрины и коляски, запряженные лошадьми в нарядной сбруе. Прохожие смотрели на еврейских малышей с изумлением, будто в жизни не видели ничего подобного. Иные старухи крестились и поспешно ковыляли прочь. Детей не пустили в здание вокзала. Их провели на запасной путь, удаленный от любопытных глаз. Матерям приказали уйти.

Соня увидела поезд и не сразу поняла, что он приготовлен для детей. Пассажирских вагонов не было вовсе — только для скота. И тут ее сердце упало: детей повели к поезду между двумя рядами колючей проволоки. У вагонов стояли немцы в эсэсовских мундирах, у каждого на поводке собака — немецкая овчарка с высунутым языком. Солдаты стояли, широко расставив ноги, вдоль всего состава. В последнем вагоне, голубом, было полно солдат, а перед ним пулемет.

Соня услышала крики детей: "Мама, мы хотим к тебе! Мама!" Побежала вдоль заграждения и с плачем бросилась в ноги офицеру, стоявшему в том месте, где заграждение подходило к поезду. Стройный офицер с детским лицом вырвал с брезгливой гримасой свой сапог из рук вцепившейся в него еврейки и сказал:

— Встань, возьми своего ребенка и не кричи.

Соня вскочила, побежала к поезду и растерялась: изо всех вагонов кричали дети, звали матерей. Муреле, Минеле и Илюша увидели, что их мать бежит вдоль вагона, удаляясь от них, и завопили изо всех сил:

— Мама, мы здесь, мы здесь!

Соня кинулась к лесенке, но не успела стать на ступеньку, как офицер ткнул ее хлыстом в плечо:

— Учти, ты можешь взять только одного ребенка, — и для ясности повторил: — Только одного, еврейка.

Минеле, Муреле и Илюшенька захлебывались слезами: "Мама, спаси нас, мама!" Тянули ручки, пальчики, рвались ей навстречу. Мать глянула на офицера, на детей. В глазах у нее помутилось, и она не смогла выбрать. Солдаты столкнули ее вниз и оттащили от вагона. А детей поезд увез туда, откуда не возвращаются.

Страшен был и тот час, когда вышел приказ о шайнах. В приказе говорилось о введении новых шайнов, это означало, что старые отменялись. Шайн, заверенный официальной печатью, давал обитателю гетто и его семье право на жизнь. И вот власти все это меняют. Рвут документы, как игрок на ярмарке поддельные карты. Весь мирок гетто охвачен паникой. Бессонные ночи в посте и скорби. Толпы у дверей Юденрата. Народ не расходится с этой биржи жизни. Страх и трепет терзает сердца — кому суждено жить? Какую надо иметь профессию, чтобы получить шайн? И есть ли ограничения по возрасту и полу? А может быть, их дадут по месту жительства? Ведь скученность в гетто такая, что грозит опасностью всему городу. Но сердце чувствует: нет, не ради поднятия производительности труда власти меняют справку на справку, бумажку на бумажку: все эти формальности — из-за очередной акции.

Назначенного дня никто не знает. А тот, кто знает, хранит тайну, остерегается паники, которая может охватить, не дай Бог, весь город. Потом эти люди в оправдание себе скажут, что согласились хранить страшную тайну именно из-за сочувствия: какая была бы евреям польза от всеобщей паники?

Члены Юденрата и полицейские с семьями, все, в ком нуждались власти, получили заветные шайны. Как усердно они исполняли свои обязан-

ности! Их сердца оказались достаточно каменными для этого.

Людей собрали на площади и направили пятерками по соседним улицам. Шли вплотную, пятерка к пятерке, голова к голове, тысячной вереницей, и не было ей конца и края. Вдоль колонны ходили охранники, считали людей, пересчитывали и снова считали. Ибо немецкий порядок не терпит ошибки в расчете. Люди в колоннах — словно деревья, пораженные молнией: ствол пуст, корни оборваны. Дунет ветер — свалятся.

Продолжалось пять часов мрачное шествие. На шестой стали людей делить — кого налево, кого направо. Крейна Косовицкая стоит под руку с мужем. Одно движение руки — и она послана налево. Крейна медленно освобождает руку из-под теплой руки мужа и, не оглядываясь, идет, куда велено. Меер Косовицкий — один из известных интеллектуалов города, человек, повидавший свет, с жизненным опытом. Говорят, что он никогда не расставался с женой, ни ради дела, ни для развлечений. А здесь — идет направо как автомат, без последнего прощального поцелуя. Супруги расходятся, как под гипнозом, неестественно покорно. И так же, как они, перешли эту незримую границу жизни и смерти сотни и тысячи других.

Слева из колонны слышен крик:

— Ноах, не оставляй меня! Спаси меня!

Это кричит Хинда, жена Ноаха, смелого, сильного человека, который был гордостью не только евреев своего города, но и всей страны. Было время, когда он побеждал борцов на арене цирка, зубами рвал цепи, гнул железные рельсы. Он слышит крик жены, всю жизнь верившей в его силу и смелость. Затряс Ноах головой, как лев в неволе трясет гривой, и закричал низким нечеловеческим голосом:

— Да разве я справлюсь голыми руками с ними со всеми? — Он стоял — огромный, гора

мускулов, хватая воздух открытым ртом.

Ноаха захватил поток, который двигался направо. Всех, кто оказался с этой стороны, вывели из гетто и продержали за его стенами до полуночи. Когда Ноах вместе с другими, удостоенными этого права, вернулся в гетто и пришел домой, то не нашел там Хинды. Лишь в огромной голове Ноаха звучал ее голос. Он упал на пол, где все еще стояли туфли жены, и завыл. А утром встал и пошел на работу, возвышаясь ростом над всеми грузчиками на аэродроме. Он будет работать весь день, а вечером вместе со всеми вернется к воротам гетто. А мыслями будет в прошлом. Хинда, Хинделе, его Хинда. Вот и он овдовел, как овдовел и осиротел весь еврейский народ. А может быть, он — презренный эгоист и трус, которому нет прощения?

ПОДПОЛЬЕ. УТВЕРЖДАТЬ ЖИЗНЬ

Шауль позаботился о матери. Соорудил для нее "малину"⁵⁸ (тайник) под мусорной свалкой и с большим искусством прорыл туда ход. Мать, три агуны⁵⁹ (женщины, чьи мужья пропали без вести) и подросток по имени Песах спустились в этот тайник. Они сидели там, а он снабжал их всем необходимым. И они спаслись. Тогда Шауль сказал себе: теперь я знаю, для чего оставил партизанскую землянку, своего командира и друга и вернулся в гетто. Все оправдано. Но Шауль не был уверен в надежности тайника, расположенного на территории гетто, поскольку гетто было обречено на гибель. Он искал крестьянский дом, где можно было в случае необходимости скрыться.

На четвертый день большой акции Шауль попал в облаву. Его привели на сборный пункт, где он вместе с другими евреями ждал решения своей

судьбы. У него не было ни старого, ни нового шайна. Случилось так, что в этот день работал в гетто мастер, приятного вида пруссак со шрамом на лице. Мастер спросил Шауля:

— А ты что здесь делаешь? Ты же совсем не похож на еврея.

Шауль ответил:

— По крови и по рождению я еврей. И так же не соответствую вашим понятиям о евреях, как вы не соответствуете моим нынешним понятиям о немцах.

Немцу, который в молодости застал прусскую демократию в расцвете, понравился смелый ответ Шауля. Он улыбнулся и спросил, какая у него специальность.

— Я сварщик высокой квалификации.

Немец тут же вытребовал для "своего" еврея новый шайн, поскольку остро нуждался для починки пушечных стволов именно в таких специалистах.

После "акции с шайнами" наступило затишье, тем более жуткое, что забрали в последний раз 20 тысяч человек — столько же, сколько осталось теперь в гетто. Но понемногу люди стали подымать жалюзи, открывать окна, снова жадно хватались за всякие утешительные слухи. Заместитель директора библиотеки видел записку, переданную из детского лагеря. То есть он сам не видел, но слышал от того, кто видел сам. Кто-то видел гуляющих по берегу реки стариков. Может быть — и радугу в облаке видели?⁶⁰

Бывший студент, а ныне, в гетто, заместитель директора публичной библиотеки, на радостях открывал библиотеку пораньше. А библиотека, как и следует из ее названия, была публичной. Это может показаться неправдоподобным, но библиотека насчитывала уже тысячу читателей. Комендант гетто собрал уцелевших художников, писателей, учителей и прочих интеллигентов и

порекомендовал предпринять что-нибудь для поднятия духа людей. Сборный пункт на площади, вызывающий мрачные ассоциации, был превращен в спортплощадку. Художник с академическим дипломом не поленился влезть на малярную стремянку и написал на стене красочный лозунг на идише: "В здоровом теле — здоровый дух". По обеим сторонам лозунга он изобразил парня и девушку спортивного вида. Не прошло и недели, как по вечерам, перед комендантским часом, из помещений, прежде служивших для жилья, уже слышались песни. Теперь эти помещения превратились в общественные места. Так как в гетто, из которого увели больше половины людей, стало гораздо просторнее, появилась возможность создать кружки и настоящие классы. В одних штудировали иврит, в других предпочитали идиш. Не было недостатка в скамьях для классов, потому что было много плотников. Не хватало только учителей. Те, кто проводили занятия, удостоивались похвалы начальства, и между ними даже началось своего рода соперничество. Читали доклады инструктора Организации трудящихся Эрец-Исраэль; они с энтузиазмом рассказывали о теории и практике сионизма. Отделенная от гетто тысячами километров, Страна Израиля была здесь, в самом его сердце.

Опустевший Сиротский дом заполнился детьми постарше — сирот в гетто становилось все больше. Детями занялись добровольцы-инструктора из молодежного движения. Создан был комитет для обучения еврейской молодежи основам коллективного труда в духе "Педагогической поэмы". Члены комитета разъезжали на самокатах и собирали бутылки, банки и всякий годный для переработки хлам; торговали с лотков лакомствами собственного производства, которые даже на неприятельный вкус жителей гетто казались невкусными. Историк гетто отмечает, что Сирот-

ский дом был, возможно, единственным учреждением, где преподавание велось на обоих еврейских языках. Дети пели на иврите "Киннерет, Киннерет", на идише "Ойфен припечек", и никто от этого не пострадал. Учили детей и иностранным языкам, и арифметике.

Сперва в гетто существовала одна "Чайная", но ее на всех не хватало. Главные политические партии открыли, каждая хоть по маленькой, но собственной столовой, поскольку столовая в гетто — учреждение авторитетное. Любой голодный мог зайти и получить тарелку супа. А поскольку голодных было много, то находились и такие, которые ходили из одной столовой в другую. Иногда для этого надо было лишь перейти улицу. Некоторые притворялись, что ищут в столовой своих знакомых, но при этом хватали и глотали все подряд, лишь бы хоть ненадолго утолить постоянный голод. Было не до приличий...

Человек старается приспособиться к любым условиям, лишь бы выжить. И обитатель гетто приспособлялся, напрягая все клетки мозга, все 365 жил и нервов. Но действительность гетто — настолько противоположна обычной жизни, что было почти невозможно понять, за что же ухватиться? Холод, голод, заброшенность и смерть стали бытом, буднями. Но вот что удивительно: заботы, которые одолевали людей годами, в том числе хронические болезни, — перестали их беспокоить. Исчезли физическая слабость и душевная депрессия, валившие, бывало, людей с ног, разлагавшие душу. Когда после первых двух недель Шауль спустился к матери в тайник, он не поверил глазам. Ей не было шестидесяти, но она уже давно страдала от болезни сердца, от расширения вен. У них в доме постоянно пахло лекарствами, то и дело раздавались стоны и вздохи. В час их первой встречи в гетто Шауля потрясла немощь матери, ее подслеповатый взгляд.

Тогда он с трудом узнал ее. А теперь тайник был украшен вышивками и кружевными салфетками, занавески на стене создавали иллюзию окон. Мать была аккуратно причесана, одежда ее — тщательно зачистана, изможденное лицо словно разгладилось, а главное — в глаза словно вернулся прежний блеск. Шауль считал, что таких прекрасных глаз нет ни у кого на свете. "Как же это случилось?" — поражался Шауль. Преодолела ли она первоначальный шок от жизни в гетто или с возвращением сына к ней вернулась жажда жизни?

— Прежде всего примерь безрукавку и носки, которые я связала, — сказала мать, — ну, что ты стоишь, как голем⁶¹ — спросила она с улыбкой. И ни слова о том, что творится наверху...

Он вспомнил то, что слышал от других, и что видел сам в день "акции стариков", из которых одни поддались обману, а другие все понимали. Бабушки и матери надели подвенечные платья, повязали волосы цветными лентами. Ревматики, как по волшебству, отбросили палки, выпрямились и спокойно пошли на сборный пункт.

Шауль сказал матери, что скоро найдет для нее укрытие в деревне и тогда со спокойной совестью вернется в лес. Она заплакала и спросила:

— Есть у тебя сердце? — Когда она успокоилась, он понял, что плачет она не от страха за себя, а от чувства вины. Оттого, что продолжает жить и не стремится к смерти, когда у нее уже нет мужа, нет Вельвеле и нет Хаим-Ойзера, а ее единственный сын собрался идти в волчье логово, в пасть смерти.

Кто мог в гетто знать, где предел страданиям? И как долго способен человек приспособливаться к реальности, которая по своей сути бесчеловечна. Вместе с тем, некоторые понятия, которые считались незыблемыми, стали сомнительными в стенах гетто, за колючей проволокой. И самой сомнительной оказалась поговорка: "Когда гремят пушки,

молчат музы”.

Правда, в тот момент пушки не гремели. Но стены гетто должны были вот-вот рухнуть и похоронить под своими обломками все живое. Каждый день смерть смотрела нам в глаза. Но когда вечером гас свет и люди лежали после работы на койках, в комнатах, где раздавался тяжелый храп, еще горели одна-две свечи. При этом свете бодрствовали до утра еврейские поэты. Иногда они собирались вместе человек по десять. А когда миньян⁶² не набиралось, потому что некоторых уже забрали, оставшиеся продолжали писать. И писали, писали. Писали на любых клочках бумаги. На любых. Пусть и это запомнится. Часть поэтов того поколения увлекалась ассонансным стихом, иные все еще держались классических принципов. Но даже так называемый свободный или белый стих не течет сам собой, как вода. Поэты в гетто не только не забросили творчества, но даже выбрали из своей среды ценителей, назначавших премии, чтобы поддержать творческие усилия народа Израиля в пору, когда пламя жизни его сынов дрожало, колебалось и могло вот-вот погаснуть.

Даже невозмутимый глава Юденрата был слегка удивлен, когда к нему явился Файвел Пьясецкий, бывший профессиональный актер, с предложением создать в гетто настоящий театр — с креслами, билетами, премьерами и своим репертуаром.

Файвел Пьясецкий был маленький, робкий человек. Только запах театрального грима преобразил его. Когда жизнь была жизнью, а театр — театром, он не имел дела с властью имущими. Но теперь, хоть и опасаясь неудовольствия со стороны главы Юденрата, Файвел решился обратиться к нему. И действительно, тот изумленно уставился из своего мягкого кресла на лысеющего актера и пожал плечами. Но не прошло и пяти секунд, как он понял, что идея, содержащаяся в

предложении Пьясецкого, — разумна. Через год немецкий комендант, в своем темном кожаном костюме, произнес со сцены, украшенной цветами, горячую речь в честь торжественного события. В первом ряду сидели офицеры в парадных мундирах, положив ногу на ногу, фуражки с серебряным плетеным шнуром, как полагается, на коленях. Скрестив руки, они подобострастно устались на главное начальство гетто. В центре первого ряда, возле супруги коменданта, расположился адвокат Синоловский, недавно назначенный председателем автономного суда гетто. Ему пока еще было неясно, как и по какому кодексу он должен здесь судить; на его голове — клетчатая форменная фуражка, поспешно приспособленная для новой должности. Худые руки наготове: вот-вот придется аплодировать. За этими лицами — члены Юденрата, чиновники, секретари, бригадиры во главе своих бригад, а также многочисленные и уважаемые гости. Комендант говорил о том, что театр существует не только для развлечения. Это культурное мероприятие — символ жизнестойкости еврейского народа, больших творческих сил нашего гетто. Разъяснял, что задачи театра в наших условиях не ограничены сферой искусства, а призваны укреплять дух народа в трудную годину. "Имею честь быть восприемником этого великолепного младенца". Так закончил комендант свою речь, и неясно, понял ли сам, что метафора его неудачна. Актриса, сидящая рядом с ним в президиуме, нахмурилась и закусил губы: во время "детской акции" у нее из рук вырвали дочь. По рядам прошел шепот, заглушенный восторженными аплодисментами; комендант дал знак, и занавес взвился. Пятая премьера театра началась...

Каждый вечер, а особенно в вечера премьер, в театре воцарялась праздничная атмосфера. Она ненадолго возвращала узникам чувство челове-

ского достоинства, ощущение собственной индивидуальности. Только один раз на благотворительном концерте произошла неловкость. По недоразумению солист-певец исполнил свой номер в начале вечера, в первой части программы. Голос его понравился, а выбор первой песни из золотого фонда народного творчества был признан удачным. И тут — по наивности или по недомыслию — солист запел вторую песню. Подпольный хроникер отметил величайшее мужество, которое требовалось, чтобы в присутствии главы Юденрата и командира полиции спеть песню на слова Переца. Услышав знакомые по другим временам слова: "Ойштретен дер хальц цум месер — нейн! А кейнмель нейн!"⁶³, комендант с красным от гнева лицом вскочил с места и знаком приказал опустить занавес. Лишь немногие расслышали, что он при этом сказал. Но все видели, как он вышел из зала. Офицеры, на ходу надевая фуражки, поспешили за ним. Смущенная публика постепенно разошлась. А певец все стоял на сцене, потрясенный, растерянный, словно баскетболист, обнаруживший, что вместо мяча он играл с бомбой.

...Жил в гетто человек по имени Ури. Был он молод и прямодушен. Когда на улицах города шла охота на мужчин, Ури удалось спастись. Женщина-христианка привела его в монастырь. Монахи спрятали его, и он жил среди них. По утрам, одетый в рясу, ходил на работу в поле. Он видел на холме, за монастырем, еврейский город, но не приближался к нему и не знал, что там происходит. Внешний мир закрыт для монаха, но до его слуха доходит многое. Ури спросил как-то у монахов, которые посещали окружающие деревни: "Друзья мои, что видят ваши глаза?" Ему ответили: "Глаза коня — у него в голове". Они привели Ури за реку к крестьянину, честному и богобоязненному человеку. У крестьянина были

две лошади и телега. Он рассказал, что немцы берут у него лошадь, "чтобы прокатить евреев в лес". В последний раз взяли обе лошади и телегу. И еще рассказал, что по всей волости запрягли лошадей и составили длинный обоз. Самих крестьян в лес не пускают, только — до зеленого моста. Там евреев высаживают из телег и гонят к лесу пешком.

Потом монахи и Ури пошли к машинисту, работавшему на железной дороге, и узнали у него название конечной станции, на которую отправляли все поезда с евреями.

Ури поблагодарил машиниста, повернулся и пошел. Пришел к себе в келью, снял монашескую рясу и всю ночь, сидя на лавке, думал, сопоставлял обрывки сведений, словно решал головоломку. И внезапно его озарило. Все, что прежде было непонятным, стало очевидным. И то, что неопределенно витало в воздухе, оказалось жестокой реальностью. На нее указывало все, что произошло до сих пор, и в ней же была разгадка конца.

Ури встал, надел свою еврейскую одежду, приладил одну желтую заплату на грудь, другую — на спину и вернулся в гетто, к своим. Ему было тогда 23 года. Вскоре пришли туда и другие парни и девушки.

Двора отыскала Шауля и сказала:

— Через два дня, когда немцы у себя по домам будут праздновать рождество, мы соберемся в большом зале бесплатной столовой и послушаем одного человека.

Придя в условленное место, Шауль увидел просветленные лица, такие, словно и не в гетто. Бледный от волнения Ури говорил собравшимся, стоя за небольшим складным столиком:

— Позвольте мне ответить на основной вопрос, который вы сами себе отказываетесь задать. Я вижу совершенно ясно конец того, что происходит. Вижу, как падает занавес. Мы — не зрители и не

артисты в этом спектакле, мы — жертвы. И не одни мы. Вы спросите: почему столько умных людей этого не видят? Разве все — пьяны или безумны? Нет, они не пьяны и не безумны. Но, чтобы правильно все понять, надо снять затуманенные иллюзией очки и пойти на риск. Пойти на риск и идти до конца.

Шауль слушал, захваченный не только четким смыслом слов. В самом человеке было что-то особенное — в его голосе, в слегка выпуклых, пылавших внутренним огнем глазах. И после того, как он кончил говорить, люди еще несколько минут сидели замороженные, как бы прислушиваясь к чему-то.

Всем казалось, что с момента, как этот человек появился среди них, они больше не одиноки. Какие-то токи прошли по залу и объединили их. Шауль вместе с другими чувствовал, что приближается нечто роковое. Никто не курил, но в воздухе, казалось, стоял дым. Даже в этом полумраке Шауль разглядел в блестящих глазах людей готовность к действию. И она была совсем не похожа на ту, которую выработала привычка к подчинению. Как всегда бывает в особые минуты жизни, все понимали друг друга почти без слов. Никто не сомневался в том, что этот человек поведет их за собой, ему поверили безоговорочно. Слова его доходили до сердца, ведь он говорил о самом главном, о том, что было раной в сердце каждого, — об их унижении и бессилии. Шауль полюбил Ури с первого взгляда и вместе с тем насторожился. Возможно, потому, что сразу угадал: они будут тесно связаны друг с другом и любая особенность характера и поведения каждого может иметь решающее значение для их отношений.

Закончив речь, Ури сразу поспешил к выходу. Этот поступок был истолкован как пренебрежительное отношение к аудитории. Но следовавший за Ури Шауль понял, что этот человек очень

взвинчен всем происходящим и ему необходимо остаться одному. Возможно — он должен был все продумать и осознать, какую взял на себя ответственность.

Подполье, созданное в тот вечер в халуцианской столовой, разрасталось, и вскоре к нему примкнули все сильные духом. Были созданы штаб и ячейки, каждая по пять человек. В первую еврейскую организацию по борьбе с нацистами входило триста девушек и юношей. Они придерживались самых различных взглядов, принадлежали к разным партиям. Но хотя у них не было никакой формы, они резко выделялись среди жителей гетто выражением твердости и спокойствия на лицах — того спокойствия, которое дает вера. Они держались в стороне, когда все вокруг волновались из-за очередного слуха, а ведь слухи — одна из самых страшных сторон жизни гетто. Эти молодые люди верили, что у них есть выход. Он не сулит им немедленного спасения, но вера спасала от паралича воли и рождала готовность к величайшим трудностям.

Однажды вечером Шауль увидел, как несколько подпольщиков вышли из подвала, где учились стрелять. Оглянулись по сторонам — не приметил ли их враждебный глаз, — взялись под руки и пошли, как пьяные, посреди улицы. Он слышал, как они запели, сначала грустную песню, потом марш. Остановились и заплясали хору. Только что они учились пользоваться пистолетом или гранатой, были готовы к борьбе, к смерти, а шалили, как школьники после экзамена. Радостные и веселые, они прошли мимо Шауля и разошлись по домам.

Комендантский час приближался, а Двора еще не вернулась. Когда-нибудь расскажут о еврейской девушке, подорвавшей гранатой немецкий военный поезд. Поверят ли, что это совершено одной из узниц гетто? Для этой операции, требующей

особой смелости и находчивости, штаб выбрал Двору. Три дня и три ночи ходила она по городу, по холмам и дорогам, выбирая место поближе к лесному тайнику и подальше от работающих евреев. Возвращаясь, тревожилась, что опоздала на встречу с Шаулем. А когда она опять уходила, Шауль волновался — за нее. Ведь у бойцов и влюбленных — особые часы, они показывают собственное время. Завтра пойдет на задание Шауль, ему поручено распространить воззвание подполья в нескольких городах. Обняв Двору, Шауль сказал на прощанье:

— Пожалуйста, позаботься до весны, пока я не вернусь, о моей матери.

— Не беспокойся о ней. А мне принеси ветку сирени.

Шауль ушел на три дня позже намеченного срока, и в эти-то подаренные ему дни произошла встреча, воспоминания о которой с тех пор не давали ему покоя. Был в гетто писатель Й. Л. Маркович, один из носителей еврейской мудрости, возрожденной в Восточной Европе на языке идиш и на иврите. Он был знаменит как блестящий исследователь еврейской культуры, истории и языка; и при этом был чрезвычайно скромным человеком, почти никогда не принимал участия в научных заседаниях, которые в те времена так часто происходили в Европе. Когда близкие спрашивали его: "Неужели тебя не интересуют теории, взгляды ученых, известных во всем мире?" — он улыбался и отвечал: "Именно тот, кто сидит в своих четырех стенах, находится в центре мира". Но чем меньше он навязывал свое мнение другим, тем больше считались с его мнением — как прежде, так и теперь, в гетто.

Й. Л. Маркович не состоял ни в одной из партий. Сионисты города потеряли надежду привлечь его на свою сторону. Как и его учитель Шимон Дубнов⁶⁴, он был сторонником еврейской

культурной автономии — пока не появился Гитлер. После этого Маркович растерялся. До начала войны он еще успел навестить своего единственного сына в одном из киббуцов Изреельской долины. То, что увидел Маркович на горе Скопус и в Национальной библиотеке, внесло в его душу смятение. А зелень Изреельской долины и радостный блеск голубых глаз сына глубоко тронули его. Вернувшись домой, он сказал жене: "Роза, наше дело продолжается". Но Роза, происходившая из семьи убежденных идишистов, революционеров и врагов сионизма, отказалась уехать с мужем к сыну, в Палестину. Предложила решить этот вопрос позже. В тот момент она не задумалась над ответом мужа — "Только бы хватило нам сил и лет"...

Первая встреча с писателем обрадовала Ури. "Важно, крайне важно привлечь его на нашу сторону", — повторял Ури друзьям. Но те сомневались — ходили слухи, что после акции, которую провела еврейская полиция в окрестных местечках, Маркович оправдывал главу Юденрата.

— Я надеюсь, что теперь, после нашего разговора, он все понял и будет с нами. Не забудьте, что он — сложный человек. — И Ури подчеркнул, словно завидуя такому качеству: — Очень сложный. Потом Ури пригласил Шауля на вторую встречу с Марковичем — через два дня после первой.

Й. Л. Маркович начал так:

— В гетто сейчас спокойный период. Мы приходим в себя, как после тяжелой болезни. Важно, чтобы это состояние закрепилось, продлилось. Если есть, не дай Бог, опасность, что гетто уничтожат, то крайние меры только ускорят беду. — Опустив глаза и сплетя пальцы, Маркович, обутый в домашние туфли, мягко ступал по узкой полосе дощатого пола. Ури и Шауль молчали.

— Я хочу исключить всякое непонимание между

нами. В вопросах жизни и смерти нет места недоговоренности. Я думал о нашей прошлой встрече. Вы могли решить, что я с вами согласен. Но я только слушал. Да, только слушал. — Шауль почувствовал, как Ури насторожился. — Я с вами ни в коем случае не согласен. — Маркович остановился против Ури и добавил:

— Ведь все враги Израиля и так бесследно исчезли.

— А гетто — не исчезнет ли оно раньше?

Вопрос Ури, казалось, не дошел до Марковича. Он продолжал развивать свою мысль:

— Нет, не это сейчас важно евреям.

— А что сейчас важно евреям?

— Утверждать жизнь.

Шауль взглянул на писателя почти с испугом и, словно отвечая самому себе, заметил:

— Важны поступки, которые утверждают жизнь.

РАССУДИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

У этого человека хватает ума, чтобы понять, что он неправ, — размышлял Шауль, — он сознательно отворачивается от решения. Чтобы изменить свою позицию, ему пришлось бы от многого отказаться. А Ури все повторял: "Если кто-то из наших интеллектуалов понимает меня, так это Маркович". Шауля раздражало почтение, с каким Ури относился к старому писателю. Его статей о реакции еврейства на появление нацизма Шауль не читал, только слышал о них в гетто краем уха. Ури цитировал отрывки из них наизусть. Особенно сильное впечатление производили строчки из статьи "На распутье", адресованные доктору Лео Беку⁶⁵, хотя и без упоминания его имени: "Чем гордиться — своей пассивностью? — спрашивал с горечью Маркович вождя немецких

евреев. — Еврейский народ за свою историю принес миллионы пассивных жертв. Но не добьется народ своих прав, если не готов ради свободы и веры активно приносить жертвы”. Правильные слова!

Шел 1938 год. Рассуждать было поздно. Да и слова Марковича не были услышаны. Если бы Лео Бек оказался теперь здесь и знал бы то, что уже знает Маркович, — что желтая заплата — это путевка в гетто, а само гетто — путь в долину смерти, — что бы они сказали друг другу, своим современникам и народу? Ури говорил: “Если Маркович и не вступит в организацию, то уж, несомненно, морально поддержит нас. Чтобы правильно оценить опасность, нужна интеллектуальная честность, а Маркович — один из, к сожалению, немногих, кто этим качеством обладает”. Шауль не был уверен в правоте Ури. Во-первых, он не совсем понимал, что такое “интеллектуальная честность”. Во-вторых, он знал людей, которые, и не будучи интеллектуалами, делали то, что нужно, и тогда, когда нужно.

Ури очень волновался перед встречей с писателем и теперь сидел, упершись локтями в колени и закрыв ладонями худое лицо. Видно было, что он совершенно растерян.

— Но разве с достоинством погибнуть — это не жизнеутверждение? Мы ведь все равно погибнем, — сказал он тихо, как бы самому себе.

— Смерть и жизнеутверждение — несовместимы. Смерть не освящает жизни. Нет и нет! — Маркович вдруг заметил, что бьет кулаком по книге, которую он только что раскрыл. Это был Талмуд. Он испуганно и нежно погладил переплет, словно отец — голову нечаянно ушибленного сына. Он слегка задохнулся, но продолжал:

— Не знаю, какие планы у злодеев, но знаю, что человеческая душа сильнее зла.

Ури побледнел. Шауль видел, как борется с

собой его друг, не решаясь высказаться. Наконец, не сводя глаз с писателя, Ури спросил:

— А у детей, женщин и всех тех, кто уже пошел налево, — не было души?

— Вам не идет цинизм, — сказал Маркович. Ури сжал губы и встал:

— Я вовсе не циник. Но поймите — выбор у нас не между жизнью и смертью, а между подчинением смерти, которую мы сейчас, как и всегда, всю нашу историю, готовы покорно принять, и между активным сопротивлением.

На лице писателя выразилось нетерпение. Он показался гораздо старше своих шестидесяти лет — взгляд его помутнел, словно от непреходящей боли. Может быть — он сейчас сокрушался, что пошел на собрание, созванное комендантом гетто, который хотел задним числом получить от духовных руководителей общины согласие на проведение последней акции.

— А комендант — достойный человек⁶⁶, — сказал вдруг Маркович, посмотрев из окна на здание Юденрата. Он придвинулся ближе к молодым людям, посмотрел им прямо в глаза и сказал тоном меламеда, поучающего детей в хедере:

— Говорю вам, главное — сохранить силы и жизнь!

Приближался комендантский час; Ури и Шауль спустились по лестнице и пересекли мощный двор. Улицы опустели.

— Ты обратил внимание, — спросил, посмеиваясь, Шауль, — на его слова: "А комендант — достойный человек", — это ведь он перефразировал цитату из "Юлия Цезаря" Шекспира! Какого дьявола ему захотелось показать свою эрудицию? Да еще нам.

Но Ури не слышал вопроса. Обернувшись, Шауль увидел, что Ури стоит, упершись лбом в фонарный столб.

— Что с тобой? — кинулся к нему Шауль. —

Не принимай это так близко к сердцу. Видишь, чтобы различать добро и зло, находясь в аду, недостаточно интеллектуальной честности, или как это ты еще называешь. Чтобы перестать верить в мудрость коменданта и принять, как мы, собственное решение, нужно напрячь все силы души и воли.

— А вдруг он прав?

Шаулю предстояло еще долго жить с Ури бок о бок, но никогда он не видел его в таком состоянии. Он схватил Шауля прямо посреди улицы за борта пиджака и затряс изо всех сил:

— Я тебя спрашиваю: а если он прав? Почему ты не отвечаешь? А если он прав?

— Это мудрость дезертира, Ури.

В пятницу Шауль уже подъезжал к месту назначения. Еще не рассвело. Мелькали сосны. Река извилистой серебряной нитью бежала по темной равнине. Через опущенное окно вагона пахло болотом.

Поезд замедлил ход. Монотонный стук сцеплений и свист паровоза отзывались в сердце. От осенних запахов дрожали ноздри. Шауль закрыл глаза.

Вот так же, бывало, сидя рядом с дедом по дороге со станции к центру местечка и слушая мерное цоканье копыт Франциски, он закрывал глаза, чтобы быстрее оказаться дома.

— Пан нездоров?

Взгляд крестьянки пристальный, но добрый. Шауль отрицательно покачал головой. Подобрав концы серого платка, она занялась своими мешками. Серебряная лента расширилась и превратилась в реку, которая омывала кусок суши, вспученной горбом на горизонте.

Это Слуць, — уверенно определил Шауль. Дальше — Припятъ. Перед войной дед купил в этом тихом месте, у слияния двух рек, дачу. Мимо окна проползла станция — знакомый ветхий двухэтажный дом; те же деревянные столбы

подпирают крышу. Зеленая водонапорная башня на растопыренных ногах и два огромных каштана. Все по-старому, все — в спокойной дреме. А вон пан Яновский собственной персоной: усы по-прежнему черные, фуражка красная. Шауля охватило чувство покоя. Господи, ведь не может такого быть, чтобы что-то изменилось в этих прекрасных местах, где так чудесно проводил он в юности летние каникулы!

Он вспомнил, что сегодня пятница, "короткий день". В такой же день, в год бар-мицвы⁶⁷, он сидел с дедом на козлах. Дед был слишком строг с Франциской, торопил ее и нещадно хлестал. "Дедушка, зачем ты бьешь Франциску?" Дед объяснил, что он не цаддик, простой хасид, и запел свою любимую песню про рабби, который едет домой и очень спешит, потому что вот-вот наступит суббота. Что же сделал рабби? Взмахнул правой рукой, отделил праздник от будней, а сам проскочил посредине:

Фун эйн зайт — шабес,
Фун андерер — вох,
Ун дер рабби фурт инмитн.

Ай-чири-бири-бим-бом,
Бим-бом,
Бим-бом,
Ай-чибири-бири-бом!⁶⁸

... "Да чем ты ей поможешь, скажи?" Шауль испуганно отпрянул; рядом никого не было, это в памяти прозвучал голос Федора Григорьевича. Шауль снова осмотрелся. Он ушел из этих мест мальчиком, а вернулся взрослым мужчиной — в сапогах, с загорелым, обветренным лицом. Даже пан Яновский, 50 лет подряд встречающий пассажиров, не узнает в нем хрупкого мальчика, внука мельника Гершеля. Но Шауль привык соблюдать

осторожность. Он прошел по главной улице, частично мощеной, но в большей части — песчаной. Только тротуар был заасфальтирован полностью. Ни одного метра асфальта не прибавилось за эти годы! И те же хаты с соломенными крышами, те же бревенчатые дома с красными железными крышами, те же кирпичные дома, крытые черепицей. Один из них — дом деда.

И все местечко то же — от распятия на перекрестке до рыночной площади, но все как бы уменьшилось, сжалось. А дома на улице — осели они, что ли?

Возможно ли, чтобы в пятницу не было нигде ни одного еврея?

Одиннадцать сыновей было у Гершеля Сандера и его жены Рахели-Леи, а дочь одна — мать Шауля. В 1882 году Гершеле учился в хедере вдовца Гершона, худого старика с жидкой бородой и желтыми зубами. Уже тогда люди говорили о Гершеле с уважением, считали его вундеркиндом. Но только Гершеле не пошел дальше Пятикнижия, потому что в том самом году произошел в местечке погром. Вылезая из пустой бочки для дождевой воды, он увидел ноги отца. Отец лежал за винным прилавком, ноги в валенках не шевелились. Но на самом деле шинкарю Сандеру повезло: его лицо было изрезано осколками бутылок и так залито кровью, что погромщики решили — мертв. А лицо матери, наоборот, осталось нетронутым, лишь из перерезанного горла тек тонкий кроваво-пенистый ручеек. Еще не вылезая из бочки, которая, на его счастье, лежала в тени между водосточной трубой и порогом дома, Гершеле увидел смуглого, широкоскулого казака, снимавшего брюки с бондаря Шнеура-Залмана, который лежал без сапог у колодца и хрипел в агонии. Казак швырнул брюки на седло, на котором уже высилась гора одежды, и выехал, поигрывая кнутом, на своей гнедой лошади со

двора. В этот момент солнце вышло из-за облаков и ярко осветило словно отлитый из бронзы круп коня, спокойно помахивающего коротким хвостом. Всадник спустился по пыльной тропинке к реке, а мальчик подошел к своим растерзанным родителям.

Встав после шивы⁶⁹, отец сказал: "Еврей должен учиться умирать". Гершеле было тогда семь лет, он ничего не сказал, но подумал: сначала я выучусь жить. В 13 лет ушел Гершеле из земли своей, от родства своего и от дома отца своего⁷⁰ на Украине и, терпя много лишений, одолел путь от Днепра до Двины. Чаше всего он двигался по ночам; в дороге видел много снов... Однажды он спрятался в крытой телеге от проливного дождя; проспал в ней ночь и половину дня и проснулся на базарной площади города Столина. Там он стал своим человеком в доме рабби Ошерля. Расставшись с рабби, унес с собой его благословение. Кроме того, он присвоил и название места — в Лахве все стали называть его "Дер Столинер" или просто "Столинер". И только представителям власти было известно, что по документам он Моргенштерн.

Он торговал рыбой, руки его загрубели, были всегда облеплены чешуей. Удивительно, как его молодая жена терпела этот запах. Однако рыба, поскольку глаза ее не осквернились зрелищем первородного греха, приносит, как известно, счастье тем, кто ее любит. Занявшись затем торговлей зерном, Гершель опять преуспел. Он даже стал поставщиком графа Свинявского. Граф признавался, что до встречи с Гершко Моргенштерном он не любил евреев, а теперь уважает их. Дед был человеком практичным, но щедрым — качества, редко встречающиеся в одном человеке, а еще реже — в одном еврее. Став арендатором, чуть ли не помещиком, он продолжал устраивать многолюдные обеды, ставя на столы все, что осталось

от субботней трапезы; раздавал рыбу из собственного пруда — головы домохозяевам, хвосты — простому люду. И громко, с чувством, распевал хасидские песни, состоящие всего из четырех-пяти, а то и трех слов. Пение продолжалось по нескольку часов, сопровождаясь вскриками "ай-ай" и припевом "бим-бом". Он был жизнерадостен и всегда деятелен. Его красивая супруга Рахель-Лея славилась благотворительностью. В Лахве, по обеим сторонам реки, у них было много друзей, евреев и неевреев. Гершеля все уважали, а Рахель-Лею — любили. Но после того, как Господь по своей великой милости помог ему преуспеть во всех делах, Гершеля одолела гордость. Он задумался над тем, что сказал цаддик в шаббат-хаззон⁷¹. А цаддик сказал, что Мессия придет из России. Некоторые считали, что цаддик даже уточнил — из Чернобыля. И однажды во время седера, за пасхальным столом, проведя пальцем по кромке стакана, чтобы очистить его от незаметных пятен, и подняв брови, Гершель Столинер сказал:

— А может быть, он придет из Лахвы?

Рахель-Лея поняла это как намек на возможность собрать всю их семью и поспешила вставить:

— Ой, дай-то Господи.

Из их одиннадцати сыновей с ними не было лишь четырех, которые подались в дальние края, кто куда. Калман не пожелал служить царю и скрылся под покровом ночи в Галицию, к его Высочеству кайзеру, и вскоре появился в Берлине. Сандер тяжело работал где-то в Нью-Йорке. Самый способный из сыновей, Зелиг, стал земледельцем в Ришон-ле-Ционе, а сопляк Срулик — нынче профессор апикойрес⁷². Больше всего сучала Рахель-Лея по единственной дочери, которую увлек в сети митнагдим⁷³ один литвак, а это похуже Америки. Сказала Рахель-Лея:

— Если бы дочь попала в плен к литвакам, но

не началась бы война — этого было бы для нас довольно. Если бы началась война и погибло бы нечестивое Польское царство, но не захватила бы нас советская власть — и этого было бы для нас довольно. Если бы захватила нас советская власть, но не сгорел бы большой и красивый дом — и этого было бы для нас довольно⁷⁴. — А теперь, когда сгорел дом, но большевики не прогнали их с земли и позволили жить в маленьком флигеле, выделенном для беженцев, — ведь в глазах советской власти погорелец лучше, чем хозяин, — тем более следует возблагодарить Всевышнего, да благословен Он в своей милости. К тому же соседи не забыли их добрых дел и не оставили в трудное время.

Шауль твердо решил нанять телегу, тайно вывезти мать из гетто и привезти в Лахву. Тут уж найдется для нее убежище. Но он опоздал.

У сестры Рахели-Леи был сын по имени Яков. Большевики взяли его в армию и послали на фронт. Когда русские в панике отступали, он не успел попрощаться с родителями. Мать чуть с ума не сошла от беспокойства. Но русские не ушли далеко: весь полк, в котором служил Яков, попал в плен к немцам. Якову повезло — вместе с двумя другими жителями Лахвы он бежал из плена, вернулся домой и сменил военную форму на гражданскую одежду. У Якова был школьный товарищ по имени Береле, который когда-то мечтал стать юристом, но мечта эта не сбылась. Немцы назначили Береле главой Юденрата. Известно, что Юденрат немцы создали для того, чтобы проводить гонения на евреев их же руками. Не легкое дело — командовать в такое время евреями и быть их представителем у нацистов, а перед своими братьями — представлять нацистов. Береле Лопатин, узнав, что его друг Яков бежал из плена, сразу спрятал его и достал ему и двум его товарищам поддельные документы. Он уже

знал, что, поступая так, рискует головой. 16-го августа мужчин-евреев погнали рыть траншеи. А для чего? Чтобы сваливать туда убитых евреев. Три дня шла мобилизация для рытья траншей, и три дня и три ночи жителей терзали слухи. Лопатин в это время обивал пороги домохозяев, собирая золото. Собрал сколько мог, помчался куда следует и всучил выкуп. На другой день рытье траншей прекратилось, люди вернулись по домам и снова стали уповать на Господа и на Береле, уговорившего немцев отменить приказ.

Первого апреля было создано гетто. В него включили 45 домов, в основном старых, а дом Гершеля оказался за пределами гетто. Но вся его семья, с деверями и племянниками, числом 36 человек, пошла в гетто. Удивительно ли, что один такой еврейский клан являл собой все политические и религиозные группы, которые имелись во всем еврейском народе: митнагдим и хасиды, халуцим из "Дрора" и бороховисты, молодежь из Ха-шомер ха-цаир и из Бетара, одна тайная коммунистка и один бундовец, бородатый ешиботник, годами живший у мусарников в Новогрудке, и двое разошедшихся во взглядах близнецов — тот, кто вышел из чрева матери правой ногой вперед, стал сторонником Поалей-Цион, левого крыла, а второй остался общим сионистом⁷⁵. Был и анархист, последователь Кропоткина, а также — независимые — и именно они были особенно высокомерны, поскольку на обоих еврейских языках их название звучит особенно многозначительно.

В прежние времена всех членов этой семьи можно было видеть на базарной площади между старой и новой синагогами и старинным ешиботом — толпились группами в истрепанных шляпах и фуражках, дергали друг друга за отвороты кафтанов, с жаром спорили. Местные фанатики славили рабби из Карлина, а их немногочисленные, но крайне возбужденные противники рассказывали о

том, что они своими глазами видели во дворе рабби из Белза⁷⁶. Те, что в коротких пиджаках, подливали масла в огонь, в воздухе носились имена святого рабби Ицхака Лурия из Цфата и Виленского гаона рабби Элияху⁷⁷. У входа в парк стояла молодежь в рубашках, у одних в руках "Хайнт", у других — "Фрайнд"⁷⁸, шесть-семь голов, без различия пола, над одним номером.

Солнце играло в прятки, весна в том году была поздняя. Бесперывно лил дождь. Общество родных не радовало Гершеля. Сгорбившись, он бродил по улицам гетто, не в силах преодолеть ощущения, что он — в тюрьме, никак не мог привыкнуть к двум убогим комнатушкам на первом этаже, куда втиснулась вся семья, к мраку и сырости, к дождю, проникавшему сквозь разбитые окна и плохо пригнанные балки. Воевал с невероятно расплодившимися клопами и тараканами. А главное — голод. Уйти бы из этой жизни. Все равно — евреям пришел конец. Лишь безумный может еще тешиться надеждой. Нет — либо Мессия, либо покончить с собой, — говорил шестидесятисемилетний Гершель, сразу превратившийся в глубокого старика.

— Но где в наших местах слыхано, чтобы еврей кончал с собой? — возразила однажды жена. Именно теперь у Рахели-Леи появились смелость и энергия. Повязавшись крестьянским платком, она выходила из гетто и возвращалась, пронося муку и крупу, а иногда мясо и картошку. Ее примеру следовали сыновья, и благодаря этому семья была жива.

А Береле Лопатин собрал надежных людей; с ними оказался и Яков. Опустили шторы, заперли на замок двери, и Лопатин сказал: "В Ганцевичах и Давид-Городке нет евреев. Хромой Игнатий Пятак пошел за своим конфискованным конем и дошел до Киева. Он говорит, что нигде на Украине не встретил евреев и что есть там

какое-то страшное место — Бабий Яр”.

Молодые молчали. Трое из них недавно были солдатами. Лопатин обратился к ним и спросил совета — что делать. Бывшие солдаты ответили: ”Надо купить оружие, а для этого достать золото”. Лопатин позвал Шехтмана, своего помощника по Юденрату. Шехтман сказал: ”О золоте я позабочусь”. Дувидл рассказал, что знает двух русских, готовых отдать два пистолета за хорошие городские костюмы. Шехтман решил: ”Я принесу костюмы, а вы — пистолеты”. Но русские взяли костюмы, а пистолетов не дали. Дувидл не отчаялся. Сходил куда-то и, вернувшись, сообщил об одном русском по фамилии Поляков. Этот Поляков — командир партизанского отряда. Он готов обменять пистолеты на сапоги: два нагана с десятком патронов за пару сапог. Тут же нашлись пять пар сапог. Поляков исчез вместе с сапогами. В эти же дни вызвали Лопатина в гестапо. Немецкий офицер отдал приказ — отобрать за два дня сотню здоровых евреев.

— Для чего? — спросил Лопатин. Немец отвесил главе Юденрата пощечину и сказал:

— Не твое дело, еврей! — Лопатин ответил:

— Если не мое это дело, то и не будет евреев.

Лопатин получил от немца еще две пощечины. Ему велено было вернуться в гетто и никуда из него не выходить. Будто бы ему было куда идти! И когда ценой трех пощечин вернулся глава Юденрата в гетто и ничего худшего с ним не произошло — и он жив, и ста человек немцы не получили, — ободрились евреи и еще больше стали уважать Лопатина.

Прошли весна и половина лета, а из гетто Лахвы не отправили на смерть ни одного еврея. Тогда Яков сказал другу: ”Назло убийцам 27 июля создаю я семью во Израиле! Будь у меня, Береле, на свадьбе шафером”. Друзья сказали: ”Мазал тов, будь счастлив”. В тот день, 27 июля

1942 года, немцы схватили семь еврейских девочек, которые ходили по деревням за продуктами для своих семей. Построили девочек гуськом в два ряда. Солдат убил трех одним патроном, а сержант прошил одним патроном четырех. Среди убитых была сестра Якова Машка. Чтобы не помешать первой в гетто свадьбе, Лопатин отложил сообщение об этом до вечера. А вечером весь народ был потрясен страшной вестью.

В тот день подполье выставило у потайных ворот гетто своих часовых. И в канун Нового года началось... Часовые увидели: едва погрузилось солнце в реку, как сто солдат с автоматами и около двухсот полицейских окружили гетто. Против гетто, на мостах, острый глаз различил пулеметные точки. Уже три дня Лопатин знал о том, что вырыты рвы. Рохчин, который прошел армию, учил подпольщиков стрелять. Он разделил бойцов на двадцать две группы и сказал: "Ночью начнем. Прорвемся, пока немцы не закончили приготовления".

Гершель Столинер, услышав о том, что происходит, взял суковатую палку, с которой ходил в поле, когда еще был арендатором, надел шубу, сохранившую пристойный вид заботами Рахели-Леи, и пришел к Лопатину:

— И ты поддерживаешь разбойников, которые хотят нас погубить?

— Погубить нас хотят немцы.

— Откуда это известно?

— Гетто окружено, реб Гершель, и вырыты рвы.

— Ты сам их видел?

— Рвы вырыты, реб Гершель.

— А на что ты обрекаешь меня, Рахель-Лею и всех стариков и детей, неспособных пуститься вместе с вами в безумный побег?

— А по-вашему, я должен сказать молодежи: идите ко рвам?

— Береле! — старик ударил три раза палкой об пол, — я гожусь тебе в отцы, в деды. Не говори со мной так. Я не сказал, что надо идти ко рвам. Но рвы уже однажды вырыли, и ты их очень ловко засыпал.

— На этот раз взятка не поможет.

— А ты пытался?

— Нет, не пытался.

— А может быть, евреев хотят только поугагать, чтобы они не шли в партизаны? Ведь чем больше партизан, тем больше летит немецких голов. Ты вожак евреев, а не волчьей стаи. Почти год, слава Богу, прошел спокойно. Может быть, и этот приказ отменяют?

— Боюсь, что не в моей власти остановить молодежь.

— Если ты не можешь, то я сам остановлю их! Палкой своей остановлю. Всю ночь проведу у забора. Пусть перешагнут сначала через мой труп!

Лопатин позвал Рохчина, и они решили отложить прорыв до утра. Если немцы выпустят евреев, как обычно, в пять часов на работу, значит — тревога ложная.

Но надежды были напрасны — на этот день была назначена полная ликвидация гетто. Немцы словно бы ждали хорошей погоды. В четыре кончился дождь, река и речная долина были в тумане. Немцев не было видно. В пять часов мастера́ не пришли за рабочими. В 5.15 ворота гетто все еще были заперты. И тогда сторож-белорус из ночной смены, прикуривая сигарету у Израиля Дабского, который подошел к нему разузнать новости, сказал: "Слушай, брат...". Член Юденрата удивился, что вдруг стал братом белорусу, но лишь на миг. "Дай мне, — сказал тот, — свои сапоги, они ведь тебе уже не понадобятся". Дабский помчался как сумасшедший по главной улице, крича:

— Евреи! Конец!

И то, чего не могли добиться подпольщики всеми своими доводами, сделал грубый язык сторожа-белоруса. Жители Лахвы превратились в вязанку дров, в кучу хвороста, они трепетали, как солома на ветру, иссушенные самообманом, расколотые в щепу надеждами. Сейчас не хватало одной спички, чтобы вспыхнул костер.

Через час к воротам гетто подъехали пять грузовиков. Немецкий офицер приказал явиться главе Юденрата.

— Гетто ликвидируется, — сказал немец, — останутся только 30 выдающихся специалистов, ты с семьей и члены Юденрата.

Лопатин ответил:

— Ваша власть, вы и ликвидируйте. Но убьете вы нас всех вместе. — И, обратившись к замершим в ожидании евреям, крикнул:

— Братья! Конец!

Эти слова послужили сигналом к восстанию. Лопатин первым поджег свой дом, за ним — Израиль Дабский и все остальные. Деревянные дома сразу вспыхнули. Пожар охватывал одну улицу за другой. Рохчин разбил топором голову эсэсовца, загородившего подход к забору, одолел забор и рванулся к реке. Пулеметная очередь настигла его уже на середине реки. По воде растеклись кровавые пятна. Так окончилась жизнь Ицхака Рохчина, одного из вдохновителей восстания в маленьком еврейском местечке — Лахве.

Гершель Моргенштерн, в распахнутой шубе, с непокрытой головой и поднятой палкой, пробирался из охваченной огнем и дымом улицы в соседний двор. В субботу он пожаловался перед сном жене: "Дорогая Рахель-Лея! Я старый и больной еврей. Тень моя в этом мире становится все короче". А сейчас к лицу его прилила кровь — где его близкие!? Вот промелькнул Яков. Держит над головой в вытянутой руке наган, словно гадюку за горло. За ним — стайка

молодых людей и девушек с железными пиками и топорами.

”Янкеле, Янкеле!” Но молодой человек исчез. А может быть, среди стрельбы и крика не слышал старика... Молодые выскакивают из переулков, кидаются на полицейских и немцев, преграждающих им путь к забору. Немцы отступили с улиц гетто и спешно устанавливают пулеметы против проломов в заборе. Убитые и раненые лежат у забора. Движение толпы меняется — люди стремятся перебраться через забор в другом месте. Среди всеобщей безумной суеты и искаженных лиц белая борода деда Гершеля развеивается, как флаг над гибнущим кораблем. Он начинает уважать этих безумцев, Янкеле и его товарищей — они бьют немцев по голове топором! Он еще раз увидел мелькнувшее в конце улицы лицо Якова. Разглядел нацеленное на него ружье. И почувствовал себя одиноким и ненужным.

На расстоянии крика от него Рахель-Лея тащит за собой плачущую внучку Манечку. Гершель их не слышит, а человеческая волна то прибывает их к нему, то отбрасывает назад. Рот Рахели-Леи широко раскрыт, глаза расширены от ужаса. В первый раз в жизни она сомневается — в здравом ли уме ее муж: старик вдруг двинулся против течения, прочь от разбитых ворот — единственной надежды спастись. Жена из последних сил работает свободным локтем, пробиваясь к нему, чтобы быть с ним вместе, даже если он сошел с ума.

ЛЮДИ ИЛИ ЗВЕРИ?

И словно чудо случилось — они оказались за стенами гетто, за пределами бушующего пламени, недоступные для немецких пуль. Раньше эти дома были еврейскими, отсюда есть тайный путь за

реку. Старик осторожно оглянулся, махнул рукой жене с девочкой, чтобы поторопились. Они спрячутся под грудой сена в конце двора, переждут опасность, а с наступлением темноты переправятся на тот берег.

Неожиданно появился какой-то человек. Стал спиной к заходящему солнцу над грудой сена, расставил для устойчивости ноги. Долговязый, лицо в тени, чуб свисает на один глаз, в углу рта окурок. Над ухом Гершеля просвистела пуля. Он от неожиданности даже не пригнулся. "Полищук! Что за шутки! — громко крикнул старик, узнав в стрелявшем лесничего, своего старого знакомого, — это я, Гершко!"

Рахель-Лея замерла, прикрыла вспотевшей ладонью рот девочки. Успела увидеть — Гершель стоит посреди двора, протянул руки к копне сена, ждет ответа Полищука. В глазах недоумение, блестит золотой зуб. И вот он уже лежит на спине, белая борода на груди, ноги неподвижно вытянуты, посреди лба — огненная роза.

Откуда взялись у Рахели-Леи силы? Она схватила девочку на руки, выбежала со двора и помчалась, не оглядываясь, как затравленный зверь, подальше от пробитых пулями домов.

Ворота гетто были открыты настежь. Толпа евреев пробилась наружу, вылилась на базарную площадь. Иудейская война на этот раз велась без плана и без командования. С момента, когда был подан сигнал, каждый действовал, как мог. Раненые немцы стонали — совсем, как люди, звали на помощь. Жалели, наверное, что не учли еврейского коварства и не рассчитали, что их было недостаточно для акции. Береле Лопатин, раненный в обе руки, продолжал сопротивляться. Прав был Рохчин: надо было начать ночью. В первое мгновение немцы и полицейские от неожиданности не стреляли. Только страшно лаяли собаки. Потом уже людей стал косить пулемет.

В этой сумятице один из еврейских парней, кто — Лопатин не разглядел, — сцепился у здания Юденрата с немцем. Схватив друг друга за горло, они катались по земле. Немцы не решались стрелять. Парень кричал: "Берите пулемет!" Но этого сделать не удалось.

Ахарон схватился с немецкой овчаркой, разбил ей голову топором. Потом все разбежались — кто куда. Хорошо, что не бежали толпой. Стрекот мотоциклов. Темнело. У немцев не было фонарей. Береле завернул за последний дом перед обрывом и, спустившись к реке, бросился в тускло блестящую воду. В этот момент он понял: воевал с немцем и вырвал у него ружье его друг, Моше-Лейб Хейфец, брат которого был убит в начале восстания. Примерно тысяче мужчин и женщин удалось вырваться из гетто. Около половины их добралось до Горячинских болот и лесов на другой стороне Припяти.

Три дня скиталась с внучкой Рахель-Лея, утоляя жажду мутной водой и питаюсь кореньями, от которых ее тошнило. Везде были следы беглецов из гетто. Мертвые, полумертвые и умирающие лежали на лесных дорогах и в болоте, посиневшие младенцы ползали среди комьев земли. Под сосной Рахель-Лея увидела Хину Муравчик. Присела рядом, трясла, убеждая встать. Но Хина смотрела на нее невидящим взглядом. Голова безвольно болталась, слова были лишены смысла. В руках аккуратно запеленутый мертвый ребенок, девочка. Никого из родных поблизости не было. Уцелевшие от погони отчаянно рвались из населенных пунктов через болота в лес в надежде найти там партизан. Они видели обессиленных, падающих с ног, слышали стоны брошенных, но помочь не могли.

На четвертый день, в субботу вечером, неся два ведра на коромысле, Евдокия Васильевна Голубчик вышла накормить единственного оставшегося после немецких поборов поросенка. Одно

ведро поставила на пороге опустевшего свинарника, другое понесла к колодцу. Обошла хату, взяла воду из колодца и вернулась, слыша нетерпеливое хрюканье поросенка. И вдруг увидела, как какое-то существо нагнулось над ведром и жадно поглощает поросячье пойло. Волосы всклокочены, непонятно — человек это или зверь.

— Матушка, — пробормотало существо, вытирая подбородок, — прости, что я так... Я жена мельника Гершко.

— Господи Иисусе! — вскрикнула крестьянка, в ужасе крестясь, и отпрянула, как от нечистой силы.

— Нельзя ли немного молока? — Рахель-Лея, все еще сидя на корточках у поросячьего ведра, показала грязным пальцем на кусты за канавой, — для девочки.

Евдокия Васильевна повидала за войну много страшного, но такого лица, как это, не видела никогда. Она велела застывшей от страха еврейке, в которой с трудом узнала первую даму местечка, вернуться в кусты и подождать там до темноты. Тогда она вынесет ей кружку молока. У нее дома зять, а он нехороший человек.

Пашка Кривонос услышал, как вскрикнула теща, и высунул голову из двери — посмотреть, что случилось, не напал ли кабан на поросенка. В этот момент кто-то проскользнул с обвязанной головой через канаву.

— Кто это там? — спросил он Евдокию. Та покачала седой головой и пожала плечами:

— Тебе привиделось.

Пашка Кривонос был человеком популярным, известным по деревням своим ремеслом карманника на ярмарках, а любимой его забавой было — подымать упавших лошадей. Упадет посреди дороги конь и не встанет — но не у Пашки. Пашка подымет и мертвого. Не зря советские приставили его к лошадям в резервном эскадроне

при конармии Буденного. Немцам он объяснил, что пошел к красным не ради идеи и даже не ради любви к лошадям, а из-за лампасов. Душа его жаждала галифе с лампасами. Жаль, что немцы не свили из шнуровки, которой были выложены лампасы, один крепкий шнур и не набросили ему на шею. Говорят, что он спас свою подлую жизнь, выдавая комиссаров. Несмотря на все это, многие по берегам Припяти относились к нему дружелюбно.

— Уважаемая Евдокия Васильевна, зачем вы врете? Это была еврейка!

Пашка взял топор и пошел в кусты. Рахель-Лея загородила девочку и замерла.

— Брось, Пашка, — резко сказала Евдокия, — какой тебе прок убивать их? Сдай в полицию, получишь премию с двух голов.

— Будь по-твоему, уважаемая Евдокия Васильевна! — сказал Пашка и пошел в полицию. По дороге ему встретились двое полицейских-белорусов. Двух полицейских с двумя ружьями достаточно для одной еврейки с ребенком, но Пашка вдруг остановился:

— Минутку, ребята. Напишите-ка мне расписку для премии. — Полицейские увидели, что тело у Пашки сильное, а голова маленькая, сплюснутая, как у змеи, и сказали:

— Что касается премии, браток, — выяснишь это у немцев сам.

А у немцев — порядок даже в далекой от Берлина Лахве. Фельдфебель сказал Пашке:

— Вы пришли вовремя. Сегодня мы заканчиваем отчет о возвращенных. До вечера их у нас будет не меньше пятисот.

Пашка был разочарован. Многие в эти дни получили премию. Ему досталось лишь полкило соли: Манечка пошла за полцены.

На улице рядом с рынком валялись листы из книг и школьных тетрадей, растоптанные игрушки,

лошадиный навоз. У Шауля под ногами хрустело стекло. А вот и ворота. Пахло гарью, гнилью, горем — еврейской судьбой. От дома к дому, из улицы в улицу шныряли люди, волокли вещи. В мешках грохотали сковородки, кастрюли, ведра. Старик со старухой тащили шкаф с надтреснутым зеркалом. Рябой парень пытался взвалить на телегу пианино. Какой-то человек с мощным телом и маленькой, сплюсненной, как у змеи, головой, прошел мимо, прижимая к груди два блестящих пузатых самовара, через плечо на цепи висела люстра с подвесками. Сверкнув мышинными глазками, он сказал Шаулю, как старому знакомому:

— Ничего не скажешь, пожить жида умели.

Шаулю хотелось опрометью кинуться прочь от сожженного гетто, как в детстве, когда спасался от летучих мышей. Покинув пепелище, он направился к дому деда и бабки. Улицы были почти безлюдны, редкие пешеходы казались растерянными, угнетенными. Сзади раздался женский голос: "Куда пан желает?". Шауль не ответил и продолжал шагать вперед. Свернул за мостом в переулок и, сделав большой круг, вышел другим переулком на главную улицу, в самый центр местечка. Вот он, дом. Сердце его дрогнуло, струя пота потекла по спине. Он вошел в калитку — обрывок веревки болтался на месте медной задвижки. На дверях дома — замок с сургучной печатью. Испуганно взлетела стайка диких голубей. Шауль обошел дом, заглянул в окна. Большой кухонный стол стоял на месте. Стулья вокруг стола — как будто вот-вот соберется семья. Напрягая зрение, Шауль пытался разглядеть каждый предмет, выступающий из темноты. Казалось, каменное молчание дома затягивает, его бесконечное одиночество парализует. Вдруг кто-то выглянул из-за угла дома и скрылся. Он кинулся вслед и схватил за руку девочку лет 16-ти, закутанную в старушечью

кофту.

— Это ты за мной все время шла? — Она не ответила, только спросила:

— Пан ищет кого-нибудь из семьи Гершко?

— Да.

— Тогда пусть пан идет за мной, — прошептала она и пошла, легко ступая босыми ногами. Почти бегом они добрались до места. Железная дверь скорняжной мастерской дяди Реувена была широко раскрыта. Между домом и сараями — груды зловонного мусора. Внутри дом был почти пуст, валялись разбитые ящики, обломки мебели и клочья бумаги. Место это когда-то гудело человеческими голосами — рабочих, мастеров, детей, вернувшихся из хедера и спешащих на речку, субботним пением и ссорами с соседями, Гершковичами. Надо всем этим нынче простерта мертвая, почти невыносимая для слуха тишина. Вдруг послышался какой-то негромкий звук, монотонный, шелестящий... Девочка провела Шауля скрытым ходом в подвал. Теперь он уже ясно слышал: "Их вил ахейм! Их вил ахейм!"⁷⁹

Он увидел тонкие руки и взлохмаченные волосы. На соломе, подобрав ноги, бесформенной кучкой лежал ребенок. В углу чадила керосиновая лампа, вокруг нее танцевали неосторожные мотыльки. Девочка сняла тяжелый свитер, светлые невымытые волосы рассыпались по плечам. Она прислонилась спиной к стене и сказала:

— Это Манечка. А я — Зоська Воевожья, мой отец — рыбак. Мы с Марылькой — ее отец был сторожем на мельнице у Гершко — ходили за ежевикой, когда приехали подводы. Там были евреи, они вернулись из побега, потому что не нашли партизан и умирали с голоду. Они вернулись на развалины гетто, и немцы собрали их, погрузили на подводы и повезли. Подводы шли взад-вперед по многу раз, шли и шли... Услышав выстрелы, Марылька испугалась и убежала. А я пошла по

тропинке между соснами и увидела рвы. Ой, как страшно было! Люди падали, как срубленные деревья, совсем тихо. Они уже не могли плакать и кричать. Вдруг вижу старую пани. Она стояла на краю рва, держа за руку девочку. Я узнала Манечку и поняла, что она упала в ров не застреленная, потому что увидела, как бабушка толкнула ее в ров капельку раньше, чем в нее выстрелили. Я спряталась, подождала до темноты, пока немцы и полицейские не ушли, пьяные. Под ногами шевелилась земля — это под ней шевелились еще живые люди. Это было так страшно, что я сперва хотела убежать, но ноги словно отнялись. Я заплакала и вдруг услышала чей-то плач. Это была Манечка. Мы поползли навстречу друг другу — она вылезла из рва, и я схватила ее за руку. Она была вся в крови. Потом я увидела, что это не ее кровь — ее совсем не задело. Я спрятала ее в кустах, подальше от места, где убивали, и побежала к Марыльке. Вдвоем на скрещенных руках мы ее донесли, знаете, как именинницу на кресле. Счастье, что никто нас не видел.

— Их вил ахейм, их вил ахейм, — тянула охрипшим слабым голоском девочка.

— Что она говорит? Она все время повторяет эти слова, уже три дня. И кроме этого — ничего.

До этого вопроса было неясно, узнала ли Зоська в Шауле еврея или считает его другом семьи Гершеля из христиан. В его глазах стояли слезы, горло сжалось. Он не стал скрываться и перевел слова Манечки:

— Она говорит, что хочет домой. Она не совсем в себе.

— Послушай, Манечка, — попытался заговорить с ребенком Шауль, — твоего дома больше нет. Здесь будет теперь твой дом. Зося тебя любит. — Он хотел ее погладить, но она спрятала голову в коленях.

— Она не сумасшедшая? — испуганно спросила

Зоська.

— Нет, это у нее пройдет. Немного терпения, и она поправится. Кто о ней, кроме тебя, знает?

— Марылька. Только она. Больше мы никому не рассказали. Мы за ней ухаживаем по очереди. Но здесь ей долго оставаться опасно. Я немного боюсь и из-за Марыльки — она не умеет молчать, да и похвастать любит.

— Ты знаешь монастырь на белой горе?

— Конечно. Раз в неделю мы возим туда свежую рыбу.

— Кто возит рыбу?

— Я.

— Когда поедешь в следующий раз?

— Завтра.

— Вот что, милая. Отвези завтра девочку в монастырь. Спроси настоятеля. Подробностей не рассказывай, только то, что нашла несчастную возле рвов. Имен не называй. Они ее возьмут. — Он распорол потайной карман, дал ей пачку бумажных денег и две золотые монеты из тощего кошелька. Велел хорошенько спрятать деньги и пользоваться ими понемногу, чтобы не заметили соседи.

— Когда-нибудь я приеду за Манечкой. Навещай ее иногда. Я вернусь, обязательно! — Девочка сжимала в дрожащей руке пачку денег. Шауль взял ее за голову и поцеловал в лоб:

— Благослови тебя Господь, Зося.

Назад к поезду он шел под дождем. Крыша маленькой станции исчезла в тумане. "Их вил ахейм, их вил ахейм" — било в висках в такт убыстряющемуся стуку колес. Он ехал в захваченные немцами города — Гродно, Барановичи, Белосток — передать призыв подполья.

С поддельным паспортом и без гроша в кармане Шауль стоял на шоссе Гродно — Лида. Он кашлял, его сотрясал озноб. И все же он пытался разобраться в клубке событий, о которых

узнал во время поездки. То ставил себя на место главы Юденрата в Белостоке, действовавшего с помощью взяток — старым, испытанным методом, то — на место голубоглазой Батьи, осуждавшей руководителей подполья за то, что они не ушли в лес с активистами киббуца. Должны ли они отвечать за всю общину, которая их отталкивает?

У Шауля был в Белостоке дальний родственник, по фамилии Файнгольд. В день большой акции два эсэсовца втолкнули его в вагон. Офицер уже протянул руку к засову, как Файнгольд громко сказал: "Меня-то вы взяли, а Сталинград — нет!". Офицер на секунду растерялся, тогда стоящий рядом солдат выбросил еврея из вагона и разбил ему голову прикладом.

Прикрывая одной рукой глаза, а другой нерешительно сигналив появившейся на шоссе грузовой машине, Шауль думал: враг — повсюду.

— Тебя подвезти? Залезай! — услышал он голос из кабины. Он взобрался в машину, благодаря по-польски и по-немецки. Это был военный, крытый брезентом грузовик; судя по тому, как легко он шел, его кузов был пуст. В кабине сидели мрачного вида шофер-фельдфебель и одорукий лейтенант.

— Хейнц, — представился лейтенант и подвинулся.

— Изя Поляков, — ответил Шауль.

— Поляков — от слова "поляк"?

— Нет.

— Русский?

— Нет.

— Тогда кто же ты, черт возьми, парень?

— Караим.

— Караим? Слышишь, Антон? — радостно обратился лейтенант к товарищу, — такого мы еще не встречали!

— Я встречал, — равнодушно ответил фельдфебель и покосился на Шауля, — надеюсь, он не

родственник известного Хамарова. — Шауля прошиб холодный пот. Лейтенант зажег сигарету, предложив другую Шаулю, а потом спросил:

— Откуда ты?

— Из Торок, — соврал тот.

— А я — из Динслакена. — Шауль не знал, где находится Динслакен, и лейтенант объяснил. А потом он спросил совсем другим, недружелюбным тоном:

— Скажи, Поляков, почему здешние жители так плохо относятся к своим соседям евреям? — Заданный немцем вопрос так озадачил Шауля, что он даже поперхнулся. Откашлявшись, ответил:

— Есть в этих местах и приличные люди.

— Есть приличные люди и среди немцев.

Шауль откровенно вытаращил глаза и, выпалив:

— Я таких не встречал, — почувствовал, что его язык словно опалило. Однако ответного удара не последовало. Наступило неловкое молчание. Блестящий пистолет лежал у лейтенанта на коленях, рука-протез — на автомате. Он был примерно одного возраста с Шаулем, глаза из-за роговых очков смотрели пристально и внимательно.

— Что бы ты сказал, узнав, что в такой машине, как эта, немец вывозит из гетто евреев? — спросил лейтенант, пуская аккуратные кольца дыма.

— Куда вывозит?

— Вопрос! Ну, скажем... из гетто в гетто.

— Какой в этом смысл, если вы все равно решили уничтожить всю эту расу?

— Вы так считаете?

— Это то, что видят мои глаза.

Грузовик вдруг запрыгал на ухабах. Водитель преувеличенно громко выругался, словно желая прервать разговор.

Из предосторожности Шауль попросил высадить его перед въездом в город. Издали он различил кордон и идущих к машине гестаповцев. Зайдя

за дом, увидел, что солдаты окружили грузовик и вытащили из кабины двух офицеров. Действительно ли это были немцы? — спрашивал себя Шауль, и его сознание все более затуманивалось. В тот же вечер он лег в больницу гетто. Сначала у него обнаружили воспаление легких. Мать ухаживала за ним день и ночь. Даже выздоровев, он не узнал, откуда взялась сметана, которой она кормила его с ложечки. На второй месяц у него начались приступы рвоты; оказалось — острая дизентерия, да еще тиф в придачу. Его перевели в тайное отделение больницы.

В больнице Шауль познакомился с мальчиком лет 14-ти. Тот пользовался любой возможностью уединиться, писал что-то в тетрадке и прятал ее под подушкой. Как-то утром он подстерег Шауля и попросил прочесть отрывок из написанного им.

”Спустился тревожный вечер. На улицах полно людей. Владельцев желтых шайнов вызвали на перерегистрацию. Кто может, прячется. Спрятаться! Зарыться в подвале, на чердаке, спастись. Жилыцы дома уходят в тайник — ”малину”. Мы тоже. Лестница с первого этажа на второй разрушена, вход в тайник — через дыру в стене. Замечательный тайник — во всю длину кухни. Возле дыры сооружают заслон из камней. Скоро и мы пролезем через дыру в тайник. На двух его этажах собралось очень много народа. При свете свечей люди скользят, как тени.

Мы — как загнанные звери. Охотники повсюду — под нами, над нами, справа, слева. Стучат разбитые замки, скрипят двери. Я боюсь, что враг стережет нас под половицами. Электрический свет проникает в щели. Там стучат, ломают, рвут. И с другой стороны опасность — заплакал ребенок. Раздается общий стон. Мы пропали. В отчаянии младенцу в рот суют сахар. Не помогает. Люди в диком страхе кричат: ”Задуйте его!”. Закрывают его подушками. Мать ребенка плачет. Литовцы

громко стучат рядом, но постепенно все стихает. Мы понимаем: ушли. С другой стороны тайника голос: "Вы свободны". Сердце радостно бьется — я жив!".

— Как я понимаю, ты ведешь дневник. У тебя есть способности, дорогой, — похвалил мальчика Шауль.

— Я не ждал похвалы. Я хотел спросить у вас совета — оставить это?

— Что именно?

— Ну, такие ужасные вещи, как убийство младенца.

— Но это ведь правда. Ты сам это видел?

— Да, но неизвестно, кому попадетсЯ дневник. Когда-нибудь прочтут и решат, что евреи были звери.

— Евреи — жертвы. А звери — не они, другие. Жертвам не приходится стыдиться.

— Ты считаешь, что евреи "снаружи" поймут, как нам было?

— Мне тоже непонятно, как можно задушить младенца. А это случилось не в одной вашей "малине".

Мальчика, который сомневался, смогут ли люди понять еврейское горе, звали Ицхаком.

В ночь на вторник на пасхальной неделе в окно больницы постучал Ури. Он вошел и сообщил Шаулю, что в варшавском гетто восстание. Ури узнал об этом только что через подпольную польскую радиостанцию. Гетто воюет! Самая крупная из еврейских общин третий день подряд бьет немцев! И Шауль, которому запрещено было прикасаться к людям, бросился к Ури на шею. Ури поспешил в подвал, где была типография. Подпольные листки должны были разнести великую новость по улицам гетто до рассвета.

С того дня члены подполья непрерывно думали о том, что близится и их время. Они собирали любое оружие, которое только можно было

найти. Пример Варшавы вдохновлял, число подпольщиков росло.

Первого числа месяца элул⁸¹ был подан сигнал. В вечер того дня члены штаба сидели допоздна, прячась в скрытой от всех глаз комнате за баней. В дверь трижды коротко постучали.

— Что-то происходит, — сообщил связной. Глава Юденрата вернулся поздно вечером из городского отделения гестапо; внутри гетто — усиленные наряды полиции; снаружи — скопление немецких солдат и вспомогательных войск. Связные поспешили разбудить членов подполья. Никто не медлил. С первым лучом солнца все явились на условные места.

Привыкнув встречаться только в составе пятерок, они удивились, узнав, что были звеньями единой цепи.

Пока они радостно обменивались рукопожатиями и шумно приветствовали друг друга, улицы заполнил топот бегущих ног.

Незадолго до того окна и двери открылись, как от сквозняка, и полусонные люди выглянули — узнать, что случилось. В это время уже разнесся и зловеще бился о стены слух — "Акция!". Прокатилось, как огонь по сухому лесу, еще более страшное слово — "Ликвидация!". Обитатели гетто бросились к тайникам. Топот бегущих по улицам ног стал тише, его слабое эхо отдалось во дворах, в узких переулках и стихло среди двойных переборок.

Дворе приказано было проникнуть в город и подготовить там связи. Она настойчиво расспрашивала Ури: как он думает — неужели в такой день ей придется быть вдали от гетто и от своих товарищей? Но момент был неподходящий для сомнений. И не таким человеком была Двора, чтобы добиваться чего-либо слезами. Переоделась в другое пальто, спустилась по веревке из окна на другую сторону стены, спорола желтую заплату

с одежды и побежала.

Шауль вышел из больницы без разрешения врачей и двинулся, держась за стену, вдоль улицы. Окно какого-то подвала было освещено. Шауль заглянул внутрь и увидел сидящего перед свечой Хону — душевнобольного, который чудом уцелел после всех акций. Он сидел в своем кафтане перед швейной машинкой, строчил и что-то бормотал про себя.

Шауль наклонился над разбитым окном подвала и сказал:

— Хона, друг, все прячутся, а ты чего тут сидишь?

— Я тоже прячусь, — ответил Хона, не отрываясь от работы.

Шауль увидел, что под иглой у того узкие листы бумаги и никаких признаков ниток в машине. Игла лишь протыкает бумагу и ничего не шьет. Так и все в гетто шили впустую, как этот безумный!

— Есть у нас великая история, — произнес Хона, глядя серо-водянистыми глазами с вывернутыми веками на Шауля, — вот я и прячусь между ее строк.

— Пойди спрячься побыстрее, — сказал Шауль.

— Милый молодой человек! Всякому — свое время. Мне нужно время, чтобы кончить свое писание.

— А что ты пишешь?

— Я пишу хронику гетто. Если хочешь знать, как нас будет судить история, — подожди, пока Хона расскажет правду всему народу. До тех пор — это полная тайна.

Хона нажал грязной босой ногой на педаль машины. Пустая игла дернулась вверх, вниз. Худые пальцы придержали бумагу и аккуратно повели ее, попадая снова и снова в те же проколы.

...В главные ворота вошел взвод солдат, впереди

бежали полицейские, которым велено было собрать всех на площади.

У ворот гетто раздался выстрел, среди солдат возникло замешательство. Они унесли своих раненых, обстреляли огневую точку восставших и разрушили дом, где те расположились. Подпольщики создали новую огневую точку — на той же улице. Во всем мире принято использовать для этой цели набитые песком мешки. Но песка в гетто не было. Поскольку штаб находился возле публичной библиотеки, Ури приказал воспользоваться книгами.

Это было странное зрелище — о кострах из книг слышали, даже видели их, кто — своими глазами, кто на фотографиях. Но здесь вид книг, наваленных вместо мешков с песком, казался настолько необычайным, что некоторые сперва испугались. И сама эта идея показалась варварской, кощунственной. В первом ряду положили крест-накрест тома энциклопедий и Танах, многотомные издания Талмуда. Потом взяли подшивку журнала "Эпоха" и большие словари, а после уже — классику в кожаных переплетах.

Книги вынесли из полумрака книгохранилищ и передавали на балкон второго этажа дома, выходящего фасадом на главную улицу гетто. Передавали их из рук в руки, как рабочие передают кирпичи. Стоя на коленях, Шауль сооружал из них укрытие от пуль. Под конец прислонил к "Звукам мандолины" Залмана Шнеура⁸¹ свое ружье.

На другой стороне улицы болтался, зацепившись за провод, кусок простыни, вероятно, выброшенный из окна.

— Ури, почему мы не подумали о флаге? — спросил Шауль.

Ури с удивлением посмотрел на него и сухо ответил:

— Флаг нужен живым. — Потом он поднес к глазам их единственный бинокль. Немцев не

было видно ни на улице, ни у ворот. Что они задумали?

Мама!?! — поразился Шауль, увидев повязанную платком мать. Она явилась неизвестно откуда и пыталась пройти во двор библиотеки. Охрана при штабе ее не пропускала. Шауль поспешил выйти к ней.

— Что ты здесь делаешь?

— Гетто ликвидируют?

— Как видно, да.

— Что я должна делать?

— А что в малине?

— Она переполнена.

— Но для тебя там должно быть место. Я ее построил!

— Шаулик, они сожгут гетто?

— Не знаю, мама. Может быть, и нет.

Парень и девушка протиснулись через порог, неся пулемет с патронами. Как видно, переносили оружие на другую позицию.

— Боже милостивый! — ужаснулась мать при виде грозного оружия, которое с трудом несли двое. — Да понимаете ли вы, чем рискуете? — Схватив сына за руку, она спросила дрожащими губами:

— Так куда же мне деваться?

Шауль не смел взглянуть ей в глаза, не смел и отвернулся от нее.

— У дровяного рынка устанавливают пушки. Гетто окружают со всех сторон, — слышался с балкона голос Ури.

Шауль коснулся ладонями холодного лба матери и сказал:

— Поторопись, мама, пока...

— Пока что, сын?

— Пока еще есть время.

Немцы, ловко раскинувшие сеть над всей страной, и на этот раз придумали нечто совершенно неожиданное. Они передали главе Юденрата и

всем перепуганным жителям, что ликвидируется только гетто, а не его обитатели. Население вывезут в другую страну, на берег моря, где не будут применять никаких строгих мер, потому что там, рядом с фронтом, нужны рабочие руки. Тот, кто пойдет вместе с семьей добровольно, получит привилегии, а кто откажется — будет расстрелян. Солдаты уйдут из гетто, чтобы не подвергаться опасности, а евреям дают на раздумье время до завтрашнего утра. Более того — группу уважаемых лиц приглашают на вокзал — взглянуть своими глазами на приготовленные вагоны — на этот раз не товарные, а пассажирские.

Солнце медленно заходило за крыши и умирало без мучений, а внизу, в гетто, метались люди — их ум был не в ладу с сердцем. Немцам они не верили, уже зная цену их заявлениям. Но время шло, и начались сомнения: а вдруг... Может быть — на этот раз они не врут? "И что нам еще остается?"

Эта ночь никогда не кончится, — думал Ури, лежа навзничь на соломенном матрасе на пороге балкона. Положив руки под голову, он смотрел, как мерцали звезды, а его уши и каждая клеточка тела ловили просачивающиеся из-под полов, из-за стен и с крыш звуки. Он слышал осторожные шаги товарищей, нарушающих комендантский час. Они пробирались во дворы и клали на пороги домов листовки подполья, призывающие никого не покидать гетто. В самой категорической форме Ури предостерегал от смертельной ловушки, расставленной гестапо, призывал защищаться всем вместе. Еще когда он писал эти строки, он сомневался в их успехе. Теперь же, думая о том, что должно завтра произойти, почувствовал резкую боль в груди. В окне балкона вдруг появилась медсестра Маша со шприцом в руке.

Ее позвали родители маленького Ури, чтобы сделать ему укол. Он болел дифтеритом или

краснухой. В шесть лет он был тощ, как палка. Он и потом, в юности, стыдился своей худобы. Любил купаться в реке, но стеснялся показываться в плавках. Был уверен, что его тело уродливо и всем противно смотреть на него. И выросши, он никогда не носил плотно прилегающих рубашек.

— Не хочу, швестер Маша, не хочу, — плакал он тогда.

— Ну, миленький! В мягкое место — это совсем не больно!

— Нет у меня мягких мест для ваших уколов!

Медсестра Маша рассмеялась:

— Для одного маленького укольчика — хватит!

Колокола церкви Всех святых зазвонили. "И был вечер, и было утро, день второй"⁸².

Через три часа после восхода солнца тысячи людей столпились на сборных пунктах с узлами. Без стрельбы, без кнута, без бунта и крика. Надежда победила гнев и страх. Гетто спешно сокращалось в объеме, как вода в водоеме со сквозными трещинами в стенах. Ури и его друзья стояли на сторожевых позициях, а народ внизу все прибывал.

— Дерьмо! — с горечью сказал Файбка и ударил кулаком по стопке книг.

— Такие уж мы, евреи, ничего не поделаешь, — возразил Шауль.

— Так что же? — скрипнул зубами Файбка, — вся жизнь — дерьмо?

Ури собрал штаб в переплетной мастерской и через полчаса вышел к восставшим:

— Сегодня ровно в два уходим из гетто. Будем прорываться в лес.

Приказано было покинуть позиции и прийти в назначенное место. С собой не брать ничего, кроме оружия.

Опираясь сверху на локти, нашаривая ногами опору в канализационной трубе, Шауль был в ней уже по пояс. Снизу, из темной глубины, глухо доносились шаги.

Шауль осмотрелся — не осталось ли на поверхности оружия. Напротив, на неоштукатуренной стене, трепетал солнечный луч, окрашивая в розовый цвет паутину. С треском промчался и исчез немецкий мотоцикл. В опустевшем дворе снова стало тихо. На расстоянии плевка перед Шаулем — тусклая, как глаз умирающего, пуговица. Ему захотелось подобрать ее. В этот момент на белой, неслышно открывшейся двери появилась тень. Это был всего лишь кот. Заметив, что человек у спуска в трубу наблюдает за ним, кот вышел на улицу. В мягком предвечернем свете видна была часть главной улицы гетто. Таким, в неярком солнечном сиянии, Шауль запомнил на всю жизнь свой родной город.

Выйдя из боковой улицы, к главным воротам гетто шел Й. Л. Маркович в своем длинном пальто, в нарядной фетровой широкополой шляпе, какие носили раньше русские интеллигенты. Ни мешка с собой, ни чемодана, только толстая книга в руке. Морщинистое лицо — цвета земли. Вдруг, как под гипнозом, свернул с пути и остановился недалеко от Шауля. Между ними по прямой — всего пятьдесят шагов. Если опустить глаза, пробежать взглядом дворовую грязь, обогнуть поломанное кресло, брошенную галошу и старую мастерскую с неработающими машинами и различить сдвинутый с места бетонный круг, то взгляд упрется в верхнюю половину туловища Шауля. Но Маркович стоял в раздумье, уставившись на карниз дома, не видя ничего, кроме какого-то рельефа на стене. Потом, ссутулившись, пошел дальше. Видно, жизнь на грани смерти довела его разум до полного оцепенения. А может быть, он постиг какую-то высшую истину.

Шауль вспомнил их встречу. Как он тогда презирал Марковича, как поносил, от обиды и гнева, интеллигентов! И вот этот человек прошел сейчас перед ним неслышно, как летящая по небу птица.

Пройдут годы, и ученые будут изучать это время с его непостижимой жестокостью. Мудрецы, плача, повторяют: "Как одиноко сидит народ в стенах, кричит в крови, и никто его не слышит"⁸³. А Шауль, проводив взглядом худую, низкорослую фигуру писателя, пытался решить: если бы строили не "малины", а надежные укрытия и своевременно; если бы, когда все уже было понятно, вожди народа были настоящими вождями; если бы не одна только молодежь, но все люди в гетто объединились, если бы руководители помогали преодолеть смертоносную беспечность, а не подавляли проявления отваги — Господи Боже! Никогда мы уже не узнаем — был бы в этом случае результат иным! А этот человек, прошедший мимо со своей книгой, ведь он не враг, у нас одна беда, одна судьба. Перебьем вас, как собак, — говорили немцы. Но мы — каждый по-своему — отстаивали свое достоинство и отказывались признать свое унижение.

— Шауль! — звал Ури из глубины канала, — ты все еще там? Двигаемся!

И они двинулись. Ползли в зловонной жиже на четвереньках, держа пистолеты в зубах и нащупывая рукой каблук ползущего впереди. Длинной чередой пробивались под землей к выходу. Вот они уже за стенами гетто, над ними — город. Поток сточных вод из труб, блестящих, как глотка гадов, сливался, журча, с водами главного канализационного русла. Испарения оседали на каменных сводах трубы, поверхность которой была облеплена пиявками, образовавшими сплошную скользкую пленку. Люди спотыкались и падали. Испражнения попадали в лицо, забивались за ворот. Наконец, через три часа после того, как подпольщики покинули гетто, они добрались до выхода из канала в предместье города. Там их встретила Двора с подругами и объяснила, куда идти дальше.

Ночь провели в старом, заброшенном замке. Город был окружен войсками, освещен мощными прожекторами, которые прочесывали небо и землю. Поспать не удалось — немного почистились и снова пустились в путь, через поля и овраги. Шли всю ночь с оружием в руках. Под утро Двора, которая шла одной из первых, заметила на горизонте темно-синюю массу. Ее сердце дрогнуло, как у увидевшего землю матроса, и она, обернувшись назад, крикнула: "Лес!"

Во время прорыва погибло четверо, трое — в стычке со стражей. Они убили офицера, их схватили и повесили. Четвертая, подруга Дворы, которую Ури уже засветло послал разведать подход к лесу, наткнулась на засаду и не вернулась.

Подошли к реке. За рекой зеленел лес. Ури приказал натянуть над водой веревку. Держа оружие в одной руке, схватившись другой за веревку, они прямо в одежде вошли в бурлящую реку. Чистая вода смыла и грязь, и отчаянье. В лесу шли гуськом, длинной, петляющей вереницей, и чем дальше углублялись в лес, тем больше ощущали тишину.

Шауль отошел в сторону. Невидимый никем, он смотрел на идущих мимо него по узкой тропинке товарищей, которых поглощала чаща, а когда исчез последний из спасшихся, упал на влажный мох и заплакал.

Он увидел перед собой базарную площадь. Ржали лошади, мычали коровы, блеяли овцы. Привязанные к крестьянским телегам свиньи дергались, как в судорогах, кудахтали куры, кричали петухи. Он увидел себя самого — мальчика, помогающего матери грузить товар на телегу.

— Почему коса, братец?

— Почему отчаяние?

— Я слышу тебя, мой сын, даже когда ты молчишь.

Его тело сотрясилось в рыданиях. Лежать во мху было мягко, как в колыбели. Куртка намокла и стала тяжелая, как чугунная. Глубоко в кармане был запрятан парабеллум. Пальцы невольно сжимали холодную рукоять. Вдруг, с неведомой ему прежде отчетливостью, он увидел мощные, убегающие ввысь дубы, их подпирающую небо крону, позолоченную восходящим солнцем листву, лучи света, блестевшие, как кинжалы, услышал глухой шелест крыльев птицы, вернувшейся в гнездо с добычей для птенцов. И жемчужные капли росы, и сиянье встающего из тумана осеннего дня. Казалось, именно теперь, когда он выплакал все слезы, впервые в жизни он разглядел по-настоящему окружающий мир — и невыразимо прекрасный и утешающий.

На второй год их жизни в лесу против еврейского партизанского лагеря расположился лагерь генерала Федора Григорьевича. Шауль подъехал к нему на коне, рассказал о своих приключениях, и Федор Григорьевич не счел его отсутствие дезертирством. Он не спросил Шауля, удалось ли тому спасти мать. Они наполнили стаканы, как полагается встретившимся после разлуки друзьям, и молча выпили. И потом каждый пошел своим путем. Один из адъютантов генерала, рыжий и низкорослый еврей, принес тетрадь в коленкоровом переплете и сказал:

— Если ты — Шауль, то твой племянник Вельвеле просил передать это тебе. Он пошел вслед за тобой и не вернулся.

КНИГА ТРЕТЪЯ

Пепел с неба

ЕСТЬ ЛИ НА СВЕТЕ БИРКЕНАУ?

– Это город?

– Нет, это не город, здесь нет людей.

– Что видно в щель, молодой человек?

– Черные мундиры. Идут к вагонам. В руках плети. Минутку, есть вывеска...

– Что на ней написано?

– Бир-ке-нау.

Действительно ли есть на свете город Биркенау? Мы искали это название на карте и не нашли. Вагон внезапно открывается. Собаки. Немцы с плетями: "Выходить! Быстро!" Изо всех вагонов бегут. Крики детей и женщин. Падаю. Бежать! Удар плетью. Очки! Их надо найти. Еще удар. Глаза в крови. Кровь течет со лба. Слава Богу — нашел! Треснуло лишь одно стекло. Пожилой профессор хватает за рукав человека в полосатой пижаме: "Господин, есть ли такой город — Биркенау?"

Человек нетерпеливо кивает. В этот момент пожилого профессора толкают влево. Мать берет на руки дочь и получает дубинкой по голове. Влево. Влево. Я машу рукой: "Профессор Альберт!" Не слышит. Наш ряд толкают вправо.

ПЕСАХ В СЕДЬМОМ БЛОКЕ

Не было места в мире страшнее Аушвица, кроме Биркенау⁸⁴, а самое страшное в Биркенау — Седьмой блок.

Это рассказ о рабби Рафаэле Хавиве из Салоник, о флорентийском раввине Натане Кассуто, о молодом халуце Гонде Редлихе из Чехословакии, о юноше из Франции, которого прозвали Красавчиком, и его отце, докторе Штернхейме, встречавших Песах в Седьмом блоке самого большого из лагерей уничтожения, созданных немцами в оккупированной Польше. Седьмой блок, на языке обитателей Аушвица — Биркенау "Ди Зибеле", был больничным баракom, последней станцией перед крематорием.

В полной тишине, свесив ноги с нар, говорили они всю ту ночь об исходе из Египта. Читали наизусть то, что помнили, подсказывали друг другу. Вместо мацы произнесли благословение над двумя лепешками, приготовленными в большой тайне. Это воистину был "скудный хлеб"⁸⁵. Ничего другого не взяли в рот, несмотря на мучительный голод, только отпили по четыре глотка воды. Потом уперлись локтями в колени и, как положено, запели. Нельзя сказать, что по-настоящему пели, — только шевелились губы, а голосов слышно не было. А по движению тел можно было понять, что мелодии песен неодинаковы.

Снаружи слышались шаги солдата, собачий лай. Гонда сказал:

— Придет время, и узники вернутся домой. И этот праздник освобождения справит народ Израиля во всем его блеске. Возможно ли, чтобы за пасхальным столом рассказывали об исходе из Египта, а об исходе из Аушвица не рассказали?

Друзья задумались над вопросом. А потом рабби Натан из Флоренции ответил:

— Тот, кто уцелеет, — вернется и расскажет.

Флорентийский раввин был еще молодым человеком. Он был больше похож на потерпевшего неудачу профессора, чем на раввина общины, подлежащей истреблению. И хотя от прежней его осанки мало что осталось, а на лице были кровоподтеки от плети, но черты лица сохраняли природный аристократизм. Он распрямился и с жаром сказал:

— Но я спрашиваю — что он расскажет? Только то, что случилось с ним самим. То, что пережил один человек, не охватывает даже вкратце повести нашего времени. Останутся в живых немногие, единицы. И если этот, чудом уцелевший, расскажет только о том, что пережил он сам, можно ли это считать свидетельством обо всех уничтоженных?

Натан Кассуто продолжал:

— В каждом поколении еврей воспринимает свою судьбу: итог жизни всех предыдущих поколений. Наши предки не ограничивались пересказом своих собственных историй, поэтому мы узнали от них историю всего народа. Может быть, на нас теперь лежит великая задача — познакомиться с жизнью ближнего, прочувствовать ее, как собственную, и, когда придет время, тот, кто уцелеет, будет свидетелем за нас всех. И если мы не можем считать, что наш жизненный путь — это итог пережитого всем нашим народом в нацистском аду, то пусть это будет хотя бы итогом пережитого Седьмым блоком Биркенау.

Снаружи слышались шаги солдат. Перекликались немцы, собаки перелайвались.

— Посвятим же эту ночь сохранению нашей истории и до следующих сумерек расскажем друг другу то, чего не рассказывали до сих пор. Тот из нас, кто, если будет угодно Господу, останется

на этом свете, поведает живым обо всех погибших. Скажем нашим братьям в других блоках — пусть поступят так же.

Эти слова проникли во все сердца. Флорентийский раввин ободряюще взглянул на молчаливого рабби Рафаэля и улыбнулся, как бы стремясь несколько снизить пафос своих слов.

История рабби Хавива, начало которой — далеко, а конец — за стеной.

Его тело странно раскачивалось, словно лулав⁸⁶ с расколотым стеблем. Рафаэль Хавив начал рассказ не сразу.

...Держась за руку деда, чтобы не затеряться в толпе, он важно, словно взрослый, прогуливается по набережной. Там после субботней трапезы собирался весь город. Деда все знали, все оказывали ему почтение: "Шабат шалом, уважаемый хахам"⁸⁷. Подходят, кланяются, жмут руку, а то — ушипнут внука за щеку.

Мальчик загляделся на лодки, качающиеся у причала. Работа в порту, в том числе в турецких и греческих мастерских, закончилась, потому что субботу в Салониках чтут все. Проходя мимо белой башни, они встречают Эль Нонно⁸⁸. Эль Нонно еще не стар, а если и стар, то по его виду этого не скажешь. А зовут его так потому, что он — старейший из грузчиков порта. Мальчику кажется, что Эль Нонно похож на смелых генуэзских моряков, строителей белой башни. Генуэзские моряки жили сотни лет назад, но об их чудесных делах дед рассказывает так, будто они все еще живы. Дед мальчика до сих пор носит феску и такой халат, какой носили в старину, а Эль Нонно носит европейскую одежду, но и у него на голове феска.

Старшина грузчиков приветствует деда, целует ему руку и говорит:

— Почтенный хахам, послушай, что случилось три дня назад. Приехал один пассажир — бельгиец. Несу я его багаж из порта, и по этому багажу мне кажется, что он вроде бы профессор, а по лицу — торговец. Бельгиец оказался любезным и разговорчивым и все пытался выяснить, кто я такой, по национальности. Из-за этого мне пришлось идти медленно.

— Вы, месье, — грек? — спрашивает он меня по-французски.

— Нет, месье, я еврей, — отвечаю.

— Значит, греческий еврей?

— Нет, месье, я уроженец Салоник.

— То есть — турецкий еврей? — допытывается он, ну, совсем, как профессор.

— Я еврей, месье.

— И больше ничего? Просто — еврей? — Мы дошли до гостиницы, и я спустил с плеч его чемодан из тюленьей кожи. Вытер руки о штаны и говорю:

— Слава Богу — больше ничего! — Он уставился мне в лоб, словно не веря, что там нет третьего глаза.

Эль Нонно и дед засмеялись.

Белой башне пять веков. Она стояла и тогда, когда в страну вторгались крестоносцы, сербы, турки, болгары, появлялся и исчезал всякий морской люд. Она глядела и на шумный город, "мать еврейских городов"⁸⁹. Возможно ли, чтобы все это исчезло? Что уже не скажут никогда на улицах Салоник "Шабат шалом", что не подымутся с берега моря портовые грузчики, босые, тяжело работающие и упрямые люди, говорящие на ладино, что навсегда стало пусто в большой талмуд-горе, что еврейские матери больше не увидят, как, весело болтая и смеясь, выходят из школы Альянса⁹⁰ их дети; что не соберется после

обеда хоровой кружок петь священные гимны и халуцианские песни; что не выйдут в государственные праздники еврейские ремесленники со своими флагами, заявляя, что основы жизни евреев Салоник — Тора и труд. Как рассказать об этом городе, который справедливо считался самым благополучным местом для евреев? Не местечко, не гетто, а чуть ли не еврейская республика. 80 тысяч евреев — богатых и бедных, лесорубов и рабочих табачных и текстильных фабрик; врачей и медицинских сестер, адвокатов и писателей; пожарная команда Салоник была знаменита мастерством и отвагой. А надо всеми — уважаемые коммерсанты, каждый из них — твердый орешек. В Салониках говорили: здесь еврей может стать кем угодно, кроме папы римского.

Но когда храбрых жителей Салоник погрузили в вагоны и заперли двери на засов, они пали духом, очень уж внезапным был переход от яркого света к полной тьме. Человек, которого взяли утром из утопающего в садах дома, вырвали из радостной, устойчивой жизни и бросили в вагоны для перевозки скота на бойню, чувствовал себя так, словно его придавило горой.

Понемногу смолкли голоса, усилился стук вагонных колес. Когда поезд оказался за городом, в незнакомых местах, и все застыли словно в параличе — в конце вагона послышался женский плач. Возможно, ты прав, рабби Натан. Когда-нибудь захотят люди узнать, что с нами произошло. Но следует помнить не только наши страдания. Учтите это, мои дорогие. Ибо плач этой незнакомой женщины в вагоне, полном стиснутых, раздавленных евреев, — плач этот оказался для меня ярчайшим явлением жизни. Я подумал — каким бы горьким ни был плач — это знак, что в человеке какая-то борьба еще происходит, не все в нем угасло. Я словно услышал в тот момент голос: "В крови своей живи!"⁹¹. С трудом встав

на ноги, так как шел уже второй день нашего путешествия, я, Рафаэль Хавив, сказал людям: "Плачьте, дети мои, плачьте громко, во весь голос. Ничего нет тяжелее отчаяния, которое не в силах излиться слезами". И когда люди поняли, что это говорит им Рафаэль Хавив, они зарыдали так оглушительно, что стало больно ушам. Звуки плача проникли наружу и разнеслись по полям Польши, границу которой пересек наш поезд в ту ночь. И представьте — когда нас доставили к воротам Аушвица и открылись двери — во всех вагонах были мертвые и только в нашем стояли все на ногах, хоть были напуганы и слабы. Было нас, стоявших на ногах и упрямых, — около ста человек.

Доктор Штернхейм вспомнил о том, как они с сыном ехали в Аушвиц:

— Куча трупов в вагоне. Зловоние после четырех дней пути. Постоянная темнота, тяжелое дыхание. Резкая боль в мочевом пузыре. Стыд. Еще резче боль от утраты стыда — ты обмочился и стараешься не думать об этом. Хуже всего — ужасная боль в ребрах, которые сломал мне прикладом французский фашист в Дранси, когда я отказался расстаться с сыном. Из-за этой боли я ударил своего соседа, старого еврея, парижского торговца, который, катаясь по полу вагона в приступе почечной болезни, задел мои израненные ребра. Я придерживал голову сына, чтобы его не придавило, поворачивал его лицом к зарешеченному окну и думал лишь об одном: дышать. Только бы дышать! Друзья мои, я от природы не крепкий человек, но в жизни не был так вынослив, как в эти четыре дня по дороге в Аушвиц.

— Пять, отец, — поправил сын.

Раввин из Флоренции тронул Рафаэля Хавива за плечо, давая этим понять, что все ждут продолжения рассказа. И раввин из Салоник

продолжал:

— Вспомним реб Арье Гейгера, простого еврея из Мункича⁹², который был с нами в предыдущем лагере. Встав в два часа ночи, он осторожно трогал меня за плечо и просил одолжить ему филактерии. Только в такой ранний час он мог читать свою молитву долго и проникновенно, как привык у себя в Мункиче. В три часа уже другие евреи устанавливали между собой очередь за моими филактериями. И так продолжалось до десяти минут шестого — в пятнадцать минут шестого была проверка на плацу. Иногда я получал филактерии последним, и мне приходилось сокращать молитву.

Однажды эсэсовский офицер еще затемно нагрянул в барак и при свете ручного фонаря разглядел реб Арье, стоящего у восточной стены со странным предметом на лбу и с ремнями на руке. Немец сорвал у реб Арье с головы филактерии и приказал старосте барака их сжечь. Реб Арье, который и от природы был слаб, а сейчас весил не больше 40 кг, получил 25 ударов плетью и едва не испустил дух. Рабочий столярной мастерской сделал новые филактерии, приделал к коробочкам ремни, выкрасил их в черный цвет; эти поддельные филактерии⁹³ потом тоже сожгли на костре.

Вчера к нам в больничный барак зашли два еврея. Один из них — Гейгер. Я его не узнал — не человек, а скелет. Он наклонился надо мной и сказал: "Рабби, я — тот еврей, который будил вас по ночам. Теперь у меня есть собственный тфиллин". Он тронул выпуклость под рубашкой со стороны сердца. Оказалось, что был в лагере еще один тфиллин. "Помните столяра, который сделал поддельный тфиллин? Он сделал еще один и перед смертью передал мне свой, который тайно хранил. Поверьте, рабби, я его не украл".

Гонда сказал:

— Я видел, как Гейгер выходил в тот раз с озабоченным видом и что-то нащупывал под рубашкой. И он тоже уже был не жилец.

Раз, два, три, четыре. На лавке, втянув голову в плечи, лежит мальчик. Ужасающе худые и бледные руки вытянуты вдоль тела. Резиновая дубинка бьет по спине, как кузнечный молот. Семь, восемь, девять.

И десять. Этот немец из лагеря "Б" известен своей жестокостью. Видно, что не успокоится, пока не брызнет кровь. Он считает сквозь зубы:

Двадцать, двадцать один,
и два, и три.

И лавка эта, на которой лежал мальчик, и весь 25-й блок видели всякое. Но такое было внове, даже палачу; он стоял, широко расставив ноги, огромный, толстый, над жалким тельцем подростка лет пятнадцати. Удары продолжают, но мальчик не кричит, не просит пощады.

Двадцать семь,
восемь —

И все еще жив? Застывшие и немые стояли мужчины-заключенные. После сорокового удара растерзанное тело падает с лавки. Немец переворачивает его носком сапога. Мальчик жив.

Дубинка бьет по животу, по ногам, по лицу. Слышится только хрип.

Немец плюнул и вышел. Мальчика положили на соломенную подстилку и вытерли влажным тряпьем, спросили:

— За что тебя?

Мальчик молчал. Его снова спросили, но он продолжал молчать. Наконец открыл один глаз и процедил сквозь разбитые губы:

— Я нашел в "канаде"⁹⁴ три молитвенника и принес их в 27-й барак. Стоило того.

— Вы, рабби Хавив, говорили о силе плача, а я

подумал о силе молчания, — закончил свой рассказ рабби Натан.

— Из книг мы знаем о том, — начал Гонда из Праги, — что иногда крик бывал последним оружием жертв.

Поняли его не сразу. Во Флоренции, Париже и Салониках немногие знали, что такое "черная сотня". Инструктор халуцианского движения напомнил об одном из погромов в России, в Киеве, в 1919 г. Услышав топот казачьих коней, евреи спрятались по домам и стали кричать из-за дверей. Этот крик продолжался ночь, день и еще ночь и был так ужасен, что кони погромщиков спотыкались и вставали на дыбы, не желая идти вперед. Под конец этот крик обратил убийц в бегство. Но нынешние наши враги — хуже черной сотни. Человеческий крик не пробуждает в них даже страха.

Гонда продолжал:

— Был у меня в Биркенау сосед по блоку, моложе меня, но старался казаться старше. Однажды прибыл большой транспорт из Венгрии, и среди обреченных, которых прямо из вагонов "погнали на Химмельштрассе"⁹⁵, был старый адмор Шалом Элиэзер Хальберштам⁹⁶. Раздевшись, адмор заметил моего молодого соседа, который собирал вещи. Рабби схватил его за руку, показал на здание с газовыми камерами и спросил:

— Сын мой, случилось ли тебе бывать там, внутри, одетым? — Мой товарищ смутился и, опустив глаза, ответил:

— Я из зондеркоманды, рабби, из тех евреев, которые здесь работают.

— А откуда ты родом?

— Из Кракова.

— Из города святого Рамó⁹⁷? А остались еще евреи в Кракове?

— Нет, рабби.

— Ой, горе! Там мой брат, рабби Иешеле из

Чехоева⁹⁸, может, слышал?

— Рабби Шая — это ваш брат? Так уважаемый рабби — цаддик из Рацферда?

— А откуда ты об этом знаешь, сын мой?

— Я — из семьи хасидов. Молитесь за нас, святой рабби, — взволнованно попросил юноша.

Старик задрожал всем своим нагим телом и схватил парня за плечо:

— А правда ли, что там злодеи будут нас бить?

— Нет, рабби, там не бьют.

— Ты в этом уверен?

— Уверен.

— Господь тебя благослови, сын мой.

В этот момент венгерские евреи кончили раздеваться, и огромную толпу погнали к газовым камерам. И тут пронесся слух о том, что собой представляет эта баня, которая ждала их за тяжелыми дверьми. Поднялся страшный крик.

— Молитесь, святой рабби! — попросил мальчик.

— Но я же голый, — возразил простодушно старик.

— Торопитесь, святой рабби!

Старик вдруг все понял. Он закрыл глаза и стал молиться. Его голос звенел и крепчал, и как дождь заливает костер, так заглушил он все крики. Люди теперь шли молча, только шлепанье босых ног вторило голосу рабби. Держась за руку рабби, мой товарищ и не заметил, как его чуть не затянуло туда. В последнюю минуту адмор взглянул на него и оттолкнул от себя:

— Ты спасешься, мой сын, и расскажешь...

Он замолчал и шагнул через порог.

Воскресенье.

Все избиты. Даже в их выходной нет нам покоя.

Понедельник.

Целый день били.

Вторник.

Мои ноги, как два полена. Как я завтра встану?

Среда.

Стараюсь говорить, едва шевеля губами. Не отгоняю мух. Больше не думаю о еде. Все еще передвигаюсь, но тело жаждет стать прахом.

Четверг.

Переведен в зондеркоманду. Транспорт из Сатмора. Еще транспорт из Венгрии. Господи, а у нас нет общего языка с нашими братьями!

Пятница.

Провожал адмора в газовую камеру.

Суббота.

Кончили рано. Играли в карты. Кто возился со своими больными ногами, кто был занят жалкой торговлей. Отец с сыном ходили между бараками друг за другом, задумавшись, будто меряют жизненное пространство.

Не могу забыть старого адмора. Напоминает мне то отца, то деда.

Когда открыли двери крематория, мне показалось, что слышу, как Божий дух пронесся над трубой.

Быстро темнеет. Непостижимое соседство — чистые звезды и этот пепел.

— Это все, что осталось от мальчика из Кракова, — сказал Гонда, — заболел тифом — и конец. Может быть, писал еще, но мне попался только этот листок.

У дверей барака залаял эсэсовский пес. Внутри все замерло. Рабби Натан опустил веки. Господи Боже! Неужели Ты так и отдашь перл Своего творения во власть псов и маньяков? Вот мы

лежим здесь, в последнем пункте перед крематорием, и нет в наших устах ни хулы, ни поношения. Лишь поминаем добром детей Твоих, находящихся в большой беде. И тяжелее смерти — чувство, что мы оставлены, забыты — и людьми, и Всевышним.

Рабби Натан ужаснулся черной дыре, которую прогрызли в его душе собственные мысли, прикусил губы и сказал:

— Я вспомнил, как повесили девушку. А вы — помните ли, как нас построили против виселицы?

Лишь Гонда Редлих не присутствовал, остальные, конечно, помнили все, до малейшей подробности.

Десять тысяч мужчин стояли на плацу вокруг виселицы. Было запрещено малейшее движение — и они не двигались. И глаз не опускали — это тоже было запрещено. Но если бы и отвернулись, и закрыли глаза, все равно — они были свидетелями того, что происходило возле них.

Из соседнего лагеря прислали дополнительный взвод солдат. Мероприятие отработали до последних деталей. Приказы отдавали через рупор:

— Всем — смирно!

Десять тысяч пар деревянных башмаков шелкнули каблуками. Немцы обожают команду "смирно", поэтому ее повторили через рупор, и снова одновременно шелкнули тысячи каблуков.

— Шапки долой!

Одним махом правой руки шапка сорвана с головы и опущена к бедру. Действие повторилось трижды и, наконец, достигло надлежащей четкости. Тогда привели осужденную.

— Рейзл, —

передали из уст в уста, не шевеля губами.

— Рузя, — поправил кто-то.

Лет девятнадцати. Два охранника поддерживают ее за руки, связанные веревкой. С трудом поднялась по лестнице на помост.

Губы, не шевелясь, передают из ряда в ряд:

— Допрашивали семь часов. Немецкая овчарка стояла, положив лапы ей на плечи. Два раза теряла сознание.

Взглянула с помоста, увидела огромную молчаливую массу, и что-то с ней стало. Вскинула голову, и разбитые ее губы раскрылись. Хотела им что-то сказать, а может, и сказала, но в этот момент заорал рупор:

— Всем — смирно!

И тут же маленькое тело девушки закачалось на веревке. Оказалось, что схватили ее на военном заводе со взрывчаткой, предназначенной для взрыва крематория. Кто послал ее — неизвестно. Гестапо не удалось вырвать у нее признания.

— Вы помните, — спросил, наконец, рабби Натан, — как мы стояли против заходящего солнца — десять тысяч мужчин перед этой отважной девушкой, пока не застыло ее тело и пока нам не разрешили разойтись? Вы меня понимаете?

Друзья молчали. А Гонда Редлих, который слышал об этом случае в первый раз, спросил дрожащим голосом:

— А о варшавском гетто, о восстании наших братьев там — есть ли у нас сведения?

— Я был там, — откликнулся рабби Рафаэль.

Друзья недоверчиво посмотрели на раввина из Салоник, и он рассказал:

— Накануне Нового года собрали нас в Биркенау на плацу. Мы ждали самого худшего. Доктор Менгеле просматривал голых людей и с первого взгляда решал — кого душиť газом, а кому еще тянуть. За десять дней до того послали в печь полторы тысячи из тех, кто уже пробыл в лагере какое-то время. На этот раз отобрали тысячу.

Когда я попал в Аушвиц, меня встретил у ворот земляк, которого привезли предыдущим транспортом, и предупредил:

— Рабби, сейчас вас спросят о вашей специаль-

ности. Скажите, что вы — портовый рабочий и знаете только греческий язык.

Я был поражен, решил, что несчастный тронулся, но поступил по его совету и тем спасся. Тех, кто заявили, что они учителя, чиновники, не говоря о священнослужителях, отправили налево, и их участь решилась сразу. Я попал в команду кровельщиков. От тяжелой работы и от побоев мое тело превратилось в сплошную рану. Со временем привык и стал настоящим рабочим. Но к концу 43-го мы уже были ходячими трупами. Я попал в отобранную налево тысячу, но был отослан из Биркенау в Аушвиц. Там тоже была собрана тысяча. Нас погрузили в вагоны, и прошел слух, что везут нас в другой лагерь. Своим наметанным глазом мы заметили, что во всем нашем транспорте нет польских евреев.

После дня езды, среди ночи, поезд остановился, и мы увидели слабый свет. Немцы привели нас на площадь, окруженную горами кирпича и остовами домов, которые словно повисли в воздухе. "Варшава", — прочел кто-то.

Город был мертв. От улиц, где жили полмиллиона евреев, от самой большой из городских общин Израиля не осталось камня на камне. Все пространство, которое мог охватить взгляд, — одни развалины. Гетто казалось мертвым, но еще не остывшим телом. Над камнями витали души тех, кто еще недавно были живыми людьми.

Нами командовал немец лет сорока, плотный, очень низкорослый, с жидкой бородой. Он вертел плетью со свинцовым шариком на конце. С губ этого недоростка не сходила улыбка. В жизни я не видел такой злобной улыбки.

С нами были два брата. Один из них жил раньше в Греции, другой — в Париже. С начала войны они не имели друг о друге известий и встретились на плацу в Биркенау. Я видел, как они обнимались и от радости даже не чувствовали

плетей. На следующий день после приезда в Варшаву нас поселили в лагере на большом кладбище в Генсе и оттуда водили на работу по расчистке гетто. Как-то днем солдаты проверяли пожитки заключенных и нашли в соломенном матраце, который соорудили себе братья, американские доллары. После работы нас привели на плац, и злобный недоросток спросил братьев, кому из них принадлежат доллары. Брат по имени Элис ответил:

— Мне, господин офицер. — И второй брат, Анри, сказал:

— Мне, господин офицер.

Немец, с несходящей с лица улыбкой, помахал перед носом старшего брата зелеными ассигнациями:

— Правильно ли я понял — что половина принадлежит тебе, а вторая половина — ему?

— Нет, господин офицер, — упрямо возразил Элис, — все деньги мои, это я их нашел.

И Анри возразил:

— Нет, это я их нашел, господин офицер. Все деньги — мои.

Анри был моложе Элиса, а ростом на голову выше. И на три головы выше эсэсовца. Узники Аушвица и Биркенау стояли у стены варшавского кладбища, следили, затаив дыхание, за делом о спорном имуществе, заранее зная его исход. Немец, стараясь не смотреть на евреев снизу вверх, ударил плетью сначала одного брата, потом другого и злобно закричал:

— И вы хотите здесь быть героями? — От боли у обоих братьев брызнули из глаз слезы, но они не отказались от своих слов. Каждый сказал про другого, что тот невиновен. Немец тут же велел им стать у стены и застрелил обоих. А нам приказал:

— Убрать эту падаль. Будете хорошо работать — будете жить.

Мы похоронили на еврейском кладбище братьев, которые жили врозь, а умерли вместе.

И еще рассказал Рафаэль Хавив, что называли их бригаду, занятую на расчистке мусора, "картофельной командой", потому что среди развалин были обнаружены запасы сгнившего картофеля. Они, наверное, были сделаны жителями гетто перед восстанием. Немец приказал обследовать территорию гетто и собрать всю картошку в одном месте. Для чего нужно было выгребать из-под развалин гнилую картошку — уму непостижимо. Может быть, немцы подозревали, что евреи до сих пор скрываются по подвалам и канализационным трубам и едят эту зловонную гниль? Скоро оказалось, что подозрения немцев были не напрасны.

Одному из наших рабочих придавило бетонной плитой ступню и он вернулся преждевременно на кладбище, в лагерь "картофельной команды". Нагнувшись, чтобы обернуть тряпкой пораненные пальцы, он увидел какой-то комок. Оказалось — картошка. В лагерь запрещалось приносить какую-либо еду, и человек удивился — как могла попасть сюда эта картошка. Он поднял картофелину с земли и разглядел на ней узор из дырочек величиной с булавоочную головку в форме Маген-Давида. Наш товарищ оглянулся вокруг, но не заметил ничего такого, что объяснило бы эту загадку. Он решил, что это сделал один из членов нашей бригады ради забавы — забавы, которая могла стоить жизни. Ведь малорослый эсэсовец и без того готов был в любой момент убить человека. Но тут наш друг почувствовал, что кто-то наблюдает за ним. Внимательно осмотрев все кругом, он разглядел чьи-то глаза под надгробным камнем, неплотно прижатым к земле.

Невозможно передать, что почувствовал наш товарищ, увидев явившегося из могилы еврея. Возраста он был неопределенного, хотя скорее

молод; волосы его слиплись и были похожи на корни растения. Лицо сливалось цветом с землей. От него исходило непереносимое зловоние. Но увы! Наш друг был из Салоник, и они не могли объясниться!

Был в бригаде уроженец Варшавы, художник Гольдминц, который с юных лет жил в обетованной земле художников — в Париже. Там же французы и выдали его, как и других евреев, граждан Польши, гестапо, и оттуда он был отправлен в Аушвиц. Как было сказано, немцы предпочли взять для расчистки варшавского гетто евреев, не знающих ни польского, ни других славянских языков. А относительно Гольдминца ошиблись, считая его французским евреем. Это он первый прочел слово "Варшава" на железнодорожной станции.

С того момента, как Гольдминц оказался в родном городе, он повторял, как в лихорадке, по польски и по-еврейски: "Варшава, моя Варшава". Выворачивал дрожащими руками камни — может быть, надеялся найти какую-нибудь знакомую вещь. Иногда во время работы он замирал на пустой площадке, которая была когда-то шумным двором, уставившись на куски бетона с остатками штукатурки, и его темные глаза туманились. А бывало, он исчезал среди развалин. Что творилось в душе Гольдминца, можно было только предполагать. Все обрадовались, когда из одной такой опасной вылазки он вернулся с бесценным сокровищем — серебряным подсвечником, найденным во дворе родного дома. Этот подсвечник когда-то его отец привез из Берлина. Он рыдал, как младенец, к которому вернулась пропавшая мать. А как он был счастлив, когда ему удалось пронести подсвечник в Аушвиц! Однажды утром раздался горестный крик — подсвечник украли, вытащили ночью у него из-под подушки. Вор — как видно, один из обитателей барака — не

сжалился над его горем, не раскаялся, не сознался. Гольдминц бился головой об стену, переворачивал доски на нарах, перетряхивал тощий соломенный матрац, вопил и бушевал, пока не пришел капо⁹⁹ и не взял его в карцер, откуда он не вернулся. И без лагерей известно, что люди способны и на самые прекрасные поступки, и на самые страшные. Но только в лагерях эта разница обратилась в пропасть между человеческим и бесчеловечным. Утачив у соседа последний кусок хлеба, вор обрекал того на смерть. И такие кражи происходили регулярно. Обворованные, проснувшись утром, протягивали дрожащую руку к спрятанному под головой хлебу и бледнели, нащупав пустоту. Подозрительность и злоба среди заключенных были еще тяжелее, чем голод.

Гонда Редлих, халуц из Терезина, сказал:

— Мы видели также, что человек в лагере способен поделиться с товарищем всем — от окурка до последнего глотка воздуха.

— О да, — вставил Рафаэль Хавив, — с Божьей помощью, не все ходим на четвереньках, всякое видели и — всяких...

Снаружи шел осенний дождь, а в покойницкой при варшавском кладбище евреи из Греции, Бельгии и Франции слушали пришельца из канализационных труб. Гольдминц переводил его рассказ с польского на французский, а житель Салоник переводил своим землякам с французского на ладино. Время от времени слышалось что-то вроде чириканья — это подавал сигнал стоящий на страже. Тогда воцарялась полная тишина, пока немец с фонарем и собакой не удалялся.

Яшин — так звали вышедшего из могилы бойца гетто — подносил ко рту дрожащей рукой ложку с супом, который ему принесли, бережно глотал его и отвечал на вопросы. Время от времени его лицо искажала судорога и он замолкал,

задумавшись.

Всю ту ночь и две последующие, под сенью надгробия, которое местные евреи в бытность живыми называли "склепом Переца", слушала "картофельная команда" историю Яшина.

Яшин — он же Иешуа Бен-Цви — был одним из активных участников восстания молодежи в Варшавском гетто в канун Песах 1943 года. Восставшие решили держаться до конца, хотя, каков он будет, этот конец, предвидели. Крик охваченного пламенем гетто бился в окна поляков, живших по другую сторону стены, и эхо возвращало его.

Яшин не был уроженцем Варшавы, он родился в Калише, на западе страны; в первый год Великой войны перебрался с друзьями в Вильно и вторично пересек границу в то время, когда немцы захватили Европу и бежать было некуда. С возвращением бойцов гетто Вильно он направился сперва в Варшаву, а потом — в Ченстохов. В Варшаву успел вернуться к началу восстания.

Яшину исполнился двадцать один год, когда он покинул дом. У него была красавица-подруга, звали ее, как и его сестру, Дворой. Яшин расстался со своей семьей в начале войны и потом нигде не нашел ее следов. На четвертый день Песах его подруга Двора еще стояла вместе с ним у окна многоэтажного дома, где находилась огневая точка бойцов, преградивших немцам проход к центру гетто. Там ее увидел немецкий солдат и изумленно крикнул: "Смотри, Ганс, еврейка стреляет!" В последний день Песах Двора погибла с оружием в руках. Когда силы повстанцев иссякли, они спустились под землю. Однажды Яшину поручили пробраться по трубам за стену и найти выход для уцелевших бойцов. Он вернулся с задания, весь выпачканный нечистотами, и не нашел никого из товарищей. Выход из центрального бункера был забросан гранатами и завален землей.

Еще клубился ядовитый газ, пущенный немцами, чтобы задушить командира и весь его штаб, сто двадцать юношей и девушек, цвет загубленного еврейского народа. Это произошло в Варшаве, на улице Милой, дом номер 18.

Яшин собрался с силами, снова спустился под землю и пробрался к выходу из канализационной трубы. Но сдвинуть бетонную крышку сил не хватило. На том месте оказался шофер-поляк; увидев руки Яшина, цепляющиеся за крышку, он вытащил его из трубы и отвез на своей машине в рощу под Варшавой, где Яшин присоединился к группе партизан. О своем спасителе Яшин не узнал ничего, кроме того, что он был жителем Мокотова.

Вскоре немцы обнаружили отряд спасшихся из гетто партизан и истребили его. Остались в живых Яшин и еще один парень — сын аптекаря. У него пропали очки, он был без них совсем беспомощен. Яшин водил его, как слепого. Так они и бродили — от одного временного убежища до другого. Двинулись в сторону густого леса на другой стороне реки, но и там не нашли спасенья — ни от немцев, ни от доносчиков-поляков, получавших плату за выдачу евреев. После того, как не нашлось для них места ни в лесу, ни в собачьих будках на хуторах, сын аптекаря положил правую руку на плечо товарища, взял в другую руку суковатую палку, и пошли они назад в Варшаву, будто слепой с поводырем. Под покровом ночи проникли на территорию кладбища, единственной уцелевшей части еврейского города, и забрались в могильный склеп, приспособленный когда-то подпольщиками для хранения оружия. Немцы иногда прочесывали кварталы разрушенного гетто, стреляя во все живое. А Яшин выходил регулярно из ямы и искал пропитание для них обоих.

— Так они провели три месяца, пока не

явились мы, — продолжал свой рассказ раввин из Салоник, — там сидят, наверное, и сейчас, так как крыс для пропитания у них достаточно.

— Крыс?! — воскликнули в один голос отец и сын. Рафаэль кивнул и прибавил:

— Если бы в тот момент, когда мы его слушали, нагрянули немцы, мы бы их не заметили, так были захвачены всем, что рассказывал этот живой мертвец. Впрочем, мы и сами были похожи на живых мертвецов. Яшин рассказал, как они с товарищем спят по очереди, боясь, что крысы съедят их живьем — они уже укусили его за ногу — и как их выворачивало от рвоты в первый раз, когда они съели крысу. И как он не знает, что делать, — товарищ его очень ослабел, все время дремлет. Мы слушали его со слезами на глазах и не стеснялись этого. Я сказал, что слезы стоит отложить до завтра, до молитвы Судного дня.

*Кол Нидре*¹⁰⁰ читали тайно, на складе "картофельной команды". Поститься было легко, к голоду привыкли. Весь Судный день работали на Умшлагплац¹⁰¹, откуда отправили на смерть 300 тысяч варшавских евреев, а потом поспешно молились позади развалин общинного центра. Рафаэль Хавив с остатками еврейства Салоник отмечали Судный день среди развалин еврейской Варшавы, спеша и сокращая молитвы. Реб Шмуэль, хаззан из Салоник, из-за всего, что выпало на их долю, пожелал добавить к заключительной молитве еще одну — особую, как это было принято в Салониках среди выходцев из Арагона. Но силы оставили его, и он упал без сознания. Ему смочили губы водой, и, едва открыв глаза, он продолжил молитву с того места, где остановился. Все расслышали слова: "Из глубины взываем к Тебе, из крематориев Аушвица, из разрушенного гетто Варшавы: Хранитель Израиля, сохрани остаток Израиля, да не погибнут последние из Твоих

сынов...". К счастью, голос его прервался от слабости и волнения и он снова упал в обморок, так как чуткое ухо начальника "картофельной команды", злого недоростка, уловило издали высокий голос хаззана, выводившего первое из трех возвещений: "Ты — Господь наш...". Пора было завершить Судный день и разойтись, пока не отправили в карцер.

Один из лагерных прожекторов погас, и лицо рассказчика исчезло во тьме.

— А теперь, когда я рассказал ничтожную часть из того, что видели наши глаза и слышали уши на развалинах прекрасной Варшавы, передам вам в заключение последнюю просьбу двух молодых героев. Они обратились с ней ко мне перед тем, как нам разойтись: им — вернуться в могильную яму, а нам — в юдоль скорби Аушвиц. Яшин показал место возле надгробия Переца, где он зарыл банку, а в ней — дневник, который вел в гетто, и стихи его друга на иврите. Я обещал, что передам об этом своим товарищам, и тот из них, кто уцелеет, непременно придет на могилу писателя, откроет тайник и передаст миру эти крохи жизни.

История Гонды Редлиха

Гонда Редлих услышал о дневнике, зарытом на варшавском кладбище, и его сердце сжалось. В гетто Терезиенштадта он тоже вел дневник и передал его своему другу. Что стало с этим дневником? Перед закрытыми глазами Гонды встали последние строчки дневника: "Мне кажется, что гетто собираются уничтожить, оставить только стариков и детей от смешанных браков. Но ведь от этих зверей-немцев можно ждать всего! Они отправляют младенцев на смерть, а коляски оставляют! Разделяют семьи... В Терезиенштадте

сначала уводят отца, потом сына, потом мать. Завтра, мой сын, пойдем и мы. Пошли нам, Господи, избавление”.

Гонде-Эгону из дома Редлихов было двадцать шесть лет, когда он попал из Праги в Терезиенштадт; а потом он оказался в последнем транспорте из Терезиенштадта в Аушвиц. Он взял с собой детскую коляску своего первенца.

— Что это такое?

— Коляска моего ребенка.

— Ребенка? А где ты собираешься с ним гулять?

— В Терезиенштадте можно было...

— Биркенау — это не обычный лагерь.

Это сказал ему еврей. Почему в его голосе такая злоба? Еврей ткнул пальцем в сторону высоких труб. Дым, перемешанный с пламенем, вырывался из них клубами.

— Младенцы здесь летают, а не катаются в колясках.

Гонда еще не знал о евреях из зондеркоманды, о том, что они обречены. На что вообще он надеялся, попав в Биркенау? На доброе слово? На утешение? На ложь? На что надеялся старый профессор Альберт, спрашивая еврея из зондеркоманды, которого только что оторвали от работы в крематории:

— Биркенау — город?

Что мог ответить профессору человек, проводивший Бог знает сколько времени в крематории? — Нет, господин профессор, Биркенау — это сказка? Ведь именно этого ждал профессор Альберт. Так же, как старая дама, родственница Герхарда Гауптмана, которую привезли в Терезиенштадт из Берлина, когда она, сидя на своих чемоданах, все твердила сквозь слезы: ”Это ошибка!”.

А чем он отличался от них, взяв в транспорт, едущий на восток, детскую коляску? Пустые вопросы... Стоя в очереди у ворот Биркенау, он

не задавал вопросов и ни о чем не размышлял.

— Ахтунг! — раздалось из рупора. — Багаж оставить! — И вот уже нет у него детской коляски. Но жена с ребенком все еще рядом.

— Часы, браслеты, украшения, золото и серебро — немедленно выложить!

— Чешское серебро тоже?

— И чешское тоже, идиот.

Подчинились. Не говоря больше ни слова, оставили все имущество. Сняли браслеты, сняли, не бросив последнего взгляда на дорогие лица, медальоны. Нервничали, когда не слушались застежки. Бросали в общую кучу и облегченно вздыхали. Резкий окрик:

— Не бросать, свиньи! Наклониться и положить аккуратно!

— Женщины и дети — налево! Мужчины — направо! Шнель, шнель!

Мужчины съжились, сбились в кучу, как стадо под кнутом. Гонда сразу почувствовал абсолютное одиночество.

В Терезиенштадте он всегда был с людьми, и люди его любили. Он был настроен твердо — не сдаваться! Для стариков Терезиенштадт был конечной станцией — их там осталось тридцать тысяч. Они падали замертво каждый день, но у молодых была надежда. Молодые пытались держаться. Организовали театр и оперу и даже эстрадные выступления с политическими намеками, непонятными тупым немцам. И актеры, и публика радовались развлечениям. Гонда Редлих и Яков Эдельштейн, его друг, в прошлом инструктор сионистского движения, а теперь — назначенный немцами комендант гетто, честный и наивный человек, считали, что долг халуцим в такое время — не оставлять свой народ в несчастье, поддерживать его дух.

Они пытались осмыслить действия немцев. Но понять — что стоит за каждым новым приказом и

как уберечься от беды, было невозможно. Однажды немцы пустили слух — больных на восток не отправляют, там, в Польше, нужна настоящая рабочая сила. Люди поспешили заболеть, чтобы их не увезли. Но как-то утром вывели из стационара всех больных, настоящих и мнимых, и загнали на грузовики. О стариках немцы говорили: "Эти могут спокойно жить и умереть в гетто". И вдруг их отправили первыми. Евреи-полицейские и начальство гетто считали себя застрахованными — пока не были взяты особым приказом. Возраст, пол, профессия, гражданский статус (беженец или гражданин Рейха) — все это имело значение, но никто точно не знал, какой пункт анкеты окажется главным в роковой момент.

— Займись воспитанием детей, — предложил как-то Гонде Яков, — это важно для будущего.

Гонда охотно согласился и сразу стал учить детей ивриту. Эти занятия вселяли надежду. Отправка на восток продолжалась, но, поскольку никто не находил Биркенау на обычной европейской карте, то делали вывод — значит, его и нет. Никто не говорил: "лагерь уничтожения", говорили лишь "на восток". Хорошим признаком казалось то, что на восток отправили бывших столичных жителей, элиту Терезиенштадта. Многие из них были не только совершенно ассимилированы, но и евреями вряд ли могли считаться — их кровь частично была немецкой, австрийской, чешской; они не понимали, почему вообще оказались в Терезиенштадте. Как же придет им в голову, что их отправляют на восток, на ликвидацию? А правда ли, что не приходило в голову? Несмотря на упорные слухи, на намеки в открытках?..

И название, дрелью сверлящее мозг: Биркенау, Биркенау, Биркенау, Биркенау, Биркенау.

— Держись, Юлия! Скоро увидимся!

Юлию Фрадкину отправили в последнюю неделю репетиций. Драмкружок Терезиенштадта работал

над спектаклем Кокто. Семнадцатилетняя красавица, талантливая танцовщица, стоя на ступеньке вагона, спросила сквозь прощальные слезы:

— Справитесь без меня, друзья?

И они справились. Юлия уехала в Аушвиц, а Гонда и другие члены труппы поспешили в театр, чтобы немедленно найти замену Юлии.

В гетто следовало по возможности жить полной жизнью, радоваться самому, радовать других. Особенно радовался Гонда в тот день, когда была создана сионистская коммуна. А каким радостным был день, когда он познакомился с Гретой — будущей своей женой.

Почему он не передал ей детскую коляску, когда ее толкнули влево? Почему не махнул на прощанье рукой?

— А дневник свой, ты, говоришь, писал на иврите? — с уважением спросил Натан Кассуто.

— На иврите. Кроме субботы, когда писал по-чешски, чтобы не нарушать субботы.

Он писал в дневнике, оставшемся в Терезиенштадте: "Надо учиться входить в гетто сионистами, а выходить евреями". Но отсюда, из Биркенау, не выходят.

Знакомство с лагерем уничтожения парализовало волю Гонды, выкованную с таким упорством в Терезиенштадте. Он помнил день, когда отчаяние почти сломило его.

Они стояли на морозе в строю перед выходом на работу. Только-только рассвело. Капо из немцев-уголовников выделил три пятерки и приказал идти за ним. Гонда был во второй пятерке. Он решил, что живыми они не вернуться. Приставленный к ним капо был профессиональным хладнокровным убийцей. Они пришли на заснеженное поле, на котором кольями была размечена строительная площадка. На шоссе, на расстоянии двухсот метров стояли машины, груженные мешками с цементом. Гонда увидел, как первые пять человек

взвалили на плечи мешки и побежали к площадке. Двое первых, хоть с трудом, но справились, третий чуть не уронил мешок, а сосед, который пытался ему помочь, получил плетью по голове. Во второй пятерке первым был ешиботник лет 18-ти из Закарпатья. Он тут же свалился от тяжести. Мешок порвался, цемент высыпался на снег. Юноша попытался встать. Раздался выстрел, и он упал. Проходя мимо с мешком, Гонда разглядел на снегу струйку крови, смешанную с цементом.

Ночью Гонда почувствовал жар и ломоту в теле. Он боялся, что у него не хватит сил даже выйти с бригадой. Когда бежал с первым пятидесятикилограммовым мешком, не верил, что одолеет расстояние в двести метров. Перед глазами мелькали черные и огненные круги. Уже готов был броситься на снег, чтобы все сразу было кончено, но вспомнил Грету с их первенцем на руках. А вдруг они живы? Может быть, спас его образ жены, а может быть, простреленная голова юноши из Закарпатья, но произошло невозможное, и двести роковых метров Гонда пробежал за день бесчисленное число раз и каждый раз чувствовал, что бежит от смерти. Оказалось, прошептал Гонда, словно говоря сам с собой, иногда можно и победить смерть. Вот и Питер Орднер по-своему тоже победил ее.

Из соседнего отделения "Семерки", где лежали тяжелобольные, слышались стоны.

— А кто это — Питер? — спросил Натан.

— Питер был слепым художником в Терезиенштадте. После того, как ослеп, стал работать с проволокой и делал из нее чудесные вещи. Ожидая отправки в Аушвиц, он наполнил ими свою мастерскую. Мне посчастливилось их увидеть. И то, что я вспоминаю о них здесь, доказывает, что Питер каким-то образом продолжает жить. Во мне.

Гонда Редлих замолчал. Пришла очередь раввина из Флоренции.

На берегах Арно

Густые туманы еще подымались по вечерам над Арно. Но с наступлением месяца элула кончилось жаркое лето 1943 года, а с ним — и надежды евреев Флоренции на скорое избавление.

Когда в Сицилии высадились союзники, то скрывающиеся по обеим сторонам моста Понто-Веккио ювелиры стали уверять с типично флорентийским темпераментом, что война кончится в сентябре. Монахи из дель-Кармине шептали:

— Италия, по крайней мере, выйдет через несколько дней из войны. Господи, помилуй наши грешные души, аминь.

Слово "капитуляция" не употреблялось. А члены семьи Ди Джоакино шепотом прибавляли: "В канун Нового года, а может, и в дни слухот¹⁰² услышит Господь наши стоны".

Натан лихорадочно считал дни, оставшиеся до избавления. Введенные в Италии расовые законы задели уважаемую семью Кассуто. Отец Натана¹⁰³ был профессором Римского университета, сестра Милька преподавала латынь и греческий в государственной гимназии, вторая сестра, Хульда, собиралась преподавать математику и уже прошла конкурс, третья сестра, Лея, — тоже учительница. Сам он, когда ввели расовые законы, был начинающим глазным врачом. Семья Кассуто была похожа на другие еврейские семьи Италии не только трудолюбием и талантом, но и связью с итальянским народом и его культурой. Новые законы оскорбили почтенных граждан еврейского происхождения до глубины души. Но в доме Кассуто — в семье Натана и жены его Ханы из дома Ди Джоакино, из колена Звулуна, — всегда

держались еврейских традиций, чтити землю Израиля и были верны сионистской идее. И потому во времена гонений их самоуважение не пострадало.

Дурные вести с севера упорно стучались в двери итальянских евреев. Ходили слухи о гетто, лагерях и убийствах. В городе появились беженцы. Они были оттуда. Того, что они рассказывали, лучше было не слышать.

Натана уволили из государственной клиники, но он тут же получил место помощника раввина в Милане. После Милана последовало предложение из раввината Флоренции. Став раввином-врачом, Натан Кассуто обновил старую средиземноморскую еврейскую традицию. Ему было 30 лет. Его уволенные из государственных учреждений сестры с энтузиазмом взялись за создание еврейской гимназии, вскоре ставшей гордостью общины.

Имя молодого раввина Кассуто произносили в общине с уважением и любовью. Видели, как он ходит по городу и предместьям, навещая беженцев. Евреи Флоренции были приветливыми и гостеприимными людьми. Они всегда помогали ближнему в беде, деятельно, без пышных слов. Когда же молодой раввин пересказывал им то, что сообщали беженцы, они упорно, в один голос твердили:

— В Италии такого не будет!

Натан Кассуто снял очки, протер треснувшие стекла. Морщины на лбу, небритые щеки, беспорядочно разросшаяся борода и темные круги под большими глазами делали его человеком без возраста. С ним произошел точно такой случай, как со старым профессором, о котором рассказал парень из Терезиенштадта.

Престарелый профессор Зеэви, с трудом держась на ослабевших ногах, прижимал к груди пачку книг, с которыми не расставался даже в запертом на засов телячьем вагоне. Вылезая из вагона на

станции Аушвиц и торопясь, чтобы не ослушаться команды ("Шнель! Шнель!"), профессор упал в грязь, и книги его рассыпались. Натан нагнулся, чтобы помочь, и получил плетью по лбу. Но хуже, чем залившая глаза кровь, была потеря очков. Подгоняемая плетями и криками эсэсовцев толпа едва не затоптала его насмерть. Он судорожно шарил руками по земле, слышал приказ немца: "Немедленно встать, стреляю!" И — о чудо! — очки хоть и с треснутыми стеклами, но нашлись.

Как у Гонды из Терезина, у Натана Кассуто был момент в лагере, когда он готов был сдаться. Он заболел дизентерией, и болезнь подорвала его силы и дух. Обессилев вконец, он попросился в больничный барак. Это было время, когда болезни косили людей. Больных немедленно направляли в "Семерку". С виду это был обычный барак, как все другие в Биркенау. Но трехэтажные нары были до предела забиты больными. Их переставали кормить, и люди умирали с голоду. Когда становилось слишком тесно, приезжали грузовики, забирали лишних больных и отправляли прямо в газовые камеры. Обреченных на смерть заранее, с ночи, выгоняли голыми во двор, на холод, под дождь. Натан послушал раздающиеся со двора "Семерки" рыдания, собрался с духом и вернулся в рабочий барак. На следующий день дизентерия у него прошла.

— Это чудо, — предположил Анчо, житель Ассизи.

— Я в чудеса не верю, — заметил доктор, — но в наше время, действительно, происходят вещи, противоречащие не только медицинскому опыту, но и просто здравому смыслу.

Может быть, опять случится чудо, он выйдет отсюда здоровым и увидит Хану и детей?

На железнодорожной станции во Флоренции было, как всегда, полно народу, и, приехав из

Милана, он не заметил ничего необычного, пока не вышел в город. Крытые брезентом, полные вооруженными солдатами грузовики сосредоточились между Пьяцца делла Стационе и Пьяцца Беттини. Военные на мотоциклах, в касках, носились со страшным треском вдоль бульвара Кавура. Немцы! Он направился к Пьяцца делла Синьория.

У Ханы начались роды, и он устроил ее под чужим именем в больницу. Потом поехал в монастырь Делла Кальца повидать детей и сестру. Некоторое время назад после долгих переговоров настоятельница монастыря согласилась их принять; кроме платы она поставила условия: дети и взрослые должны пользоваться только своими новыми именами и есть все, что подадут. Он без колебания согласился и вздохнул с облегчением — его дети, сестры и племянники были надежно укрыты.

Но не прошло и недели, как Натана вызвали в монастырь. Его дети не ели мяса, которое подавали к монастырскому столу. Хуже того, они отказывались от своих новых имен:

— Я не Амато Фанфани, я — Давид Кассуто, — кричал шестилетний Давид.

— Ты — мой сын Давид Кассуто, и останешься им на всю жизнь. Но, чтобы обмануть злых людей, нужно, чтобы тебя звали Амато Фанфани.

— Я не буду есть их свинью!

— Но ведь дома ты уже ел некошерное.

Ребенок топал ногами:

— Но здесь не дом, здесь монастырь!

Натан помнил испуганные лица детей, которых собрали в темной келье для короткого свидания с отцом и дядей. Поняв, что убедить их невозможно, он заявил решительным тоном:

— Как ваш отец и раввин разрешаю вам есть трэфное и лгать для спасения жизни и ради безопасности ваших родителей и милосердных

монахинь. Это называется на иврите "пикуах нефеш"¹⁰⁴, поняли?

Дети сразу перестали спорить и обещали вести себя как следует. Он обещал, что скоро заберет их и все они, вся их семья снова будет вместе.

Давид вытер слезы и спросил:

— Но ведь ты всегда говоришь правду, верно, папа?

Натана кольнуло в сердце, но он улыбнулся и сказал вместо ответа:

— Открою вам большую тайну: у вас родилась сестра Хава.

Темная келья наполнилась радостными криками, глаза детей заблестели, и они не протестовали больше против порядков в монастыре.

Остальные члены семьи были спрятаны у друзей в деревне, на тайных квартирах в городе и в монастырях. В тот же день он отправился в Сан-Марко на встречу с падре Рикоти.

Во Флоренции было полно беженцев с севера — из Больцано и Комо; все увеличивался поток евреев из Франции — они бежали со стороны Гренобля — без документов и вещей, не зная языка...

Однажды трое жителей Флоренции — Рафаэль Кантони, господин Карпи и молодой раввин Кассуто — собрались на тайное совещание, чтобы обсудить, как помочь беженцам из Франции. Вскоре образовался нелегальный комитет помощи беженцам. В него входили достойнейшие граждане города; в том числе много христиан, представителей духовенства.

Поскольку в этой деятельности приняли участие священники, то и церковь щедро помогала беженцам.

Между Новым годом и Судным днем около двухсот евреев — мужчин, женщин и детей, были спрятаны в тайных местах. Раввин и его помощники

сняли квартиры, где под чужими именами поселили беженцев. Часть спрятали в домах, пока еще считавшихся неприкосновенными. Так, в библиотеке и личных апартаментах кардинала Флоренции, семья еврейских беженцев нашла приют между двойными стенами, за изображением Святого Семейства. Большинство же скрывалось в монастырях, которых, к счастью, было множество по берегам Арно.

— Дорогой падре, вы нездоровы? — испуганно спросил молодой раввин, увидев своего друга. Монах сидел, сгорбившись, на ступеньках. Он был расстроен. По дороге в тайник, где скрывалась еврейская семья, которой он нес лекарство для больного астмой ребенка, у поворота на улицу Сан-Фреддиано, он столкнулся с двумя фашистами. Один из них, постарше, с выщипанными бровями, взял монаха за плечо и сказал:

— Нам известно, что ты служишь евреям. Предупреждаем: если не прекратишь, сождем твой монастырь.

Голос Киприано Рикоти, мускулистого, отлично сложенного мужчины, дрожал. Он боялся не за себя, а за монастырь. Кардинал приказал ему уехать недели на две из города, пока не минует опасность.

— Что же делать, — сказал Кассуто, — передайте связи дону Кассини — надо подготовить место для группы детей, которая приедет завтра из-за границы.

В тот же день молодой раввин побывал у дона Кассини. Он поговорил со священником о собрании, намеченном на 26-е число. У священника тоже были плохие новости. Фашисты выследили двух дочерей профессора Леви. Несмотря на то, что обе были одеты монахинями, их задержали и передали гестапо. Натан Кассуто с одной из них кончал школу, был знаком и с другой.

’Истинное зло проявляется в деянии’’¹⁰⁵, — пробормотал он с болью.

Добро тоже проявляется в деянии. Анна Мария Аньолетти порвала с еврейством еще до наступления дурных времен. Но с того дня, как она вступила в тайный комитет по спасению евреев, служила делу усердно и преданно. Ее тоже выследили и выдали на муки. Дух ее сломить не удалось, и ее расстреляли.

В сердце Натана Кассуто не было никаких предчувствий, когда 26 ноября он отправился на собрание комитета. С утра накрапывал дождь, и он подумал, что надо срочно починить обувь. На полдень была назначена встреча с кардиналом для обсуждения вопроса о переводе группы беженцев через швейцарскую границу. Порыв ветра вывернул наизнанку зонт, и, остановившись, чтобы его выправить, Натан заметил краем глаза в начале улицы заграждение.

Комитет находился в доме номер 2 по улице Пуччи. Натан сначала решил, что перед ним итальянские карабинеры, а когда увидел черный мерседес, отступить было поздно.

Его втащили через приоткрытые ворота в длинный темный коридор. В висках еще стучало, когда он услышал возле себя голос, дружеский голос священника Кассини. Голос предложил Натану немедленно следовать через тайный проход в маленькую квартиру, специально приготовленную на случай опасности.

— Что произошло? Нас предали?

Лицо священника было прозрачно-бледным, но он владел собой. Медленно, как бы колеблясь, вынул из-под сутаны напечатанный приказ: Министерство внутренних дел фашистского правительства Италии предписывало всем проживающим в Италии евреям, независимо от происхождения, явиться 30 ноября на сборные пункты. Облава, видно, уже началась.

Натан все же вышел на улицу. Он увидел каски солдат, спешащих к воротам домов, услышал крики через микрофон: "Внимание, внимание!". Инстинктивно обогнув пустой грузовик, он направился к Пьяцца Сан-Джиованни. Но тут же передумал и пошел навстречу троим, поначалу его не заметившим, — итальянскому офицеру Марио Гаччини, застрелившему Анну Марию, немцу-эсэсовцу и сопровождавшему их молодому фашисту-итальянцу. Натан знал этого молодого человека и его семью.

— Это — тот самый человек с бородой, — показал на него парень и поспешил спрятаться за спины офицеров.

— Ты жалеешь, что сдался? — спросил Гонда из Терезина.

Натан Кассуто промолчал. Он с грустью подумал о священнике доне Кассини, тоже арестованном в тот день. Только вмешательство кардинала спасло его. Вообще можно было считать, что тем, кто попал тогда в руки итальянской полиции, повезло. По общему мнению, итальянские фашисты — совсем не то, что гестаповцы — их хотя бы можно было подкупить. А итальянским следователям не хватало немецкого отработанного профессионализма; было различие в методах, в технике следствия. Но принцип зла — тот же. Если повезет и вернемся во Флоренцию, будем повторять в шаббат-хаззон: "Истинное зло проявляется в деянии". В тот день итальянские фашисты собрали больше тысячи евреев и послали их в лагеря уничтожения, исполняя приказы с педантичностью, несвойственной до того флорентийцам и римлянам.

Как просил его тогда священник: "Синьор Кассуто, не ходите, там немцы, гестапо"!

Они стояли в чужом дворе, в тени олеандров и гополей, под увитыми плющом стенами. Тишину нарушал только плеск фонтана. "Вы нужны нам,

нужны своей семье!” Где они? Что с его женой Ханой? Слова застряли у него в горле. Может быть, ему надо было тогда пойти к жене, посоветоваться? Сказано в Талмуде: ”Позаботься прежде о бедняках своего города”. Тем более — о семье... Бывает, что момент решает судьбу. Так что же решить? О чем молиться? Вопросы еще терзали его, а взгляд упал на олеандровые деревья над голубоватым мраморным фонтаном. Вспомнил, как отец рассказывал, что в Эрец-Исраэль олеандры растут возле рек и вади. Может быть, отец сидит где-нибудь на горе Скопус, устремив взгляд за горизонт, и пытается издали ему дать совет. Не может быть, чтобы в такой момент отец заслонился от всего, что происходит, книгами в Национальной библиотеке!

Послышались стрельба и крики.

— Хватают наших из комитета! Тех, кто пришел сюда раньше.

— Доктор, ступайте в приготовленную для вас комнату, выпейте чашку кофе, а потом решайте, что делать.

Натан заметил, что дон Кассини назвал его ”доктором”.

— Но я ведь еще и раввин Флоренции! А там — мои братья! — Он попросил друга проследить издали, куда его поведут, и передать семье, чтобы срочно искали другое убежище.

— Поторопитесь, дорогой друг! Уходите отсюда, скорее, дон Кассини!

С этими словами Натан пошел к воротам. Но дон Кассини не послушался. Он выскользнул вслед за раввином, забежал с другой стороны и потянул его за рукав под арку, к дому кардинала. Как досадно сейчас Натану Кассуто, что он нетерпеливо и грубо отмахнулся от протянутой руки.

По ночам в тюрьме он не мог сомкнуть глаз. Мужчины, женщины и дети валялись там, как

разбитые черепки. Происходящее казалось бредом, ночным кошмаром. "Разве может такое быть на самом деле?!" — спрашивал себя Натан, встречая бессонным взглядом зарю.

Их вывезли рано утром, когда город еще не проснулся. Длинной вереницей, съезжившись до неузнаваемости, люди брели под конвоем карабинеров. Попадались редкие прохожие. Ближе к железнодорожной станции их было больше, особенно на станционной площадке — шли на работу рабочие, чиновники, лавочники, официанты. Не глядя, они спешили пройти мимо.

— А я думал, что у вас это было иначе, — заметил кто-то в конце барака.

Отец и сын

Доктор Штернхейм и его сын молчали, словно берегли остаток сил. Жители блока знали их историю, но вы ее не знаете.

Отец и сын, которого здесь называли Красавчиком, были из тех, кто уже провел немало времени в Аушвице. Их глаза видели почти все, что можно было видеть в лагере уничтожения зимой и летом, весной и осенью. В 1942 году морозы наступили рано и холод был необычайный. Смерть косила заключенных одного за другим. Каждое утро часть людей не доходила до работы. Одни, не в силах двигаться, валялись на снег, на середине Виа Долороза, главной улицы лагеря, другие застывали уже на пороге барака, так что выходящим приходилось перешагивать через них. Некоторые пытались своими силами или с помощью соседа дотащить обратно до барака. Но дежурный староста выгонял их пинками назад, на мороз, где они и лежали, замерзая, до десяти часов. К этому времени в ворота въезжали грузовики с платформой.

Обессиленных клали на платформу, как соломенные снопы. И как снопы, люди не издавали никаких звуков, хотя некоторые были еще живы.

Как-то ночью отец почувствовал, что больше не может выдержать. Осторожно, стараясь не разбудить сына, он выскользнул из барака и лег в снег. Еще не рассвело, белели только заснеженные крыши. Все казалось мертвым. Но не успел отец совершить задуманное, как сын нашел его.

— Оставь меня, сын, — взмолился отец. — Ты выдержишь. А я больше не могу.

Сын ответил:

— Если ты еще раз устроишь мне такое, я брошусь на проволоку.

С тех пор они держались друг за друга днем и ночью, не расставаясь. Правая рука отца — под головой сына, чтобы тому было мягче, пока не уснет. Отец молился в душе по-немецки: "Господи милосердный, дай вот так же лежать с живым сыном и завтра".

Пока Эли не появился в Париже, доктор Штернхейм метался, как затравленный зверь, пытаясь спастись. Когда Гитлер пришел к власти, доктор Штернхейм был еще настроен бодро, о чем, добравшись до Парижа, писал сестре, оставшейся в Германии. Он не расстался с надеждами на благополучный исход и после трех лет эмиграции, когда пошел добровольцем во французскую армию. Верил во Францию и тогда, когда она отступала и он оказался в общем потоке побежденных. Еврей, эмигрант, он, не переставая, повторял: "Непобедима страна, если ее сыновья готовы положить за нее жизнь". Он высоко ценил дух Франции и ее культуру даже тогда, когда офицеры его батальона согласились с тем, что они, как чистокровные сыновья Франции, и в плену сохраняют свои права, а пасынков-евреев отдают на произвол убийц. Доктор не падал духом, пока считал, что его сын находится в безопасности. Эли и его

товарищи-халуцим работали в сельскохозяйственной коммуне на юге Франции, готовясь к переезду в Палестину. Может быть, вслед за сыном отправлюсь и я, — думал доктор.

Доктора Штернхейма звали Филоном. Он был назван так в честь прадеда, у которого, как подобало отпрыску благородной раввинской семьи и потомку славного рабби Меира из Ротенбурга¹⁰⁶, было двойное имя Филон-Иеидия. Сам доктор считал естественным, что у него лишь одно имя. Есть же предел всей этой символике!

Но есть ли предел страху? Один за другим исчезали его друзья-изгнанники: Биньямин, Вайс, Хазенклавер. Но больше всех ранила его сердце смерть друга детства Карла Эйнштейна¹⁰⁷. Берлинские друзья стояли перед его глазами, как живые. А родительский дом в родном местечке помнился смутно — он покинул его в ранней юности.

Для студентов во Львове он был Филек-мусарник, чужак из Новогрудка; в Берлине его называли галицийцем, а в Париже сочувствовали ему — эмигранту, беженцу из Германии. Как завидовал он, вечный странник, своим берлинским друзьям, их устойчивой жизни, покою их домов, квартирам все с той же постоянно стоящей на своих местах мебелью. Стоило ему зайти в такой дом, как его сразу охватывало чувство жизненной прочности и покоя. А на стенах — в тяжелых позолоченных рамах — отец семейства, вззирающий на тебя, рядом — его предки, уверенные, что их сыновья и внуки тоже в свое время украсят эти стены своими портретами.

И разве они не заслужили права на прочное место здесь — эти трудолюбивые, надежные, глубоко преданные Германии люди? Они верили, что можно быть евреем и принадлежать Германии. За два дня до начала депортаций доктор читал статью Германа Когена¹⁰⁸, преисполненную таких

восторгов по поводу немецкой культуры, немецкого духа, каких, кажется, и сами немцы никогда не выражали.

По Франции мчались поезда, трудно было не замечать их, не догадываться о том, какой они перевозят груз. Представим себе: осенний вечер в доме доктора Шарля. В полдень была помолвка его белокурой дочери Луизы, а сейчас она может еще посидеть на коленях у папы. Папа Шарль держит в руке бокал шампанского и то сам из него отопьет, то протянет дочери. Входит мадемуазель Нушетт; в ее руках поднос, на нем — бутерброды с паштетом. Печенку привез племянник из Ле Миля. На выезде из Ле Миля, там, где кончается обнесенный забором лагерь, он увидел поезд. Мимо него проехал вагон с французскими жандармами и немцами в черных мундирах. В окнах видны были солдатские головы без фуражек. Солдаты пили пиво из бутылок и пели "Лили Марлен". За пассажирским вагоном следовали закрытые на засов вагоны, в которых обычно возят скот. Но видны были не коровьи морды, а тонкие детские руки. Пальцы держатся за решетку. Он видел, как машет рука, словно веточка на ветру. Племянник потом так и сказал: "Словно веточка на ветру", — и Луиза недоумевающе посмотрела на него. На мосту поезд замедлил ход, и в этот момент он отчетливо услышал детский крик: "Мама, мама!" Из первых вагонов неслась в пространство песня "Лили Марлен", а на детские голоса откликался только лязг тормозов.

Племянник из Ле Миля описывал увиденное с большим волнением. Рассказ провинциального родственника вызвал тягостное молчание. Луиза сидела, прижавшись к отцу, обхватив его руками за шею. По лицу доктора Шарля прошла дрожь. Ведь у них в гостях был еврейский беженец — доктор Шарль служил со Штернхеймом в одном

кавалерийском полку и помог ему после прихода немцев найти человека, который подделал его документы. Конечно, доктор Шарль хотел немного отвлечь гостя от печальных мыслей, когда сказал: "А ну-ка посмотрим, что еще привез нам племянник! Неужто и гусиную печенку, как бывало!". И Филон Штернхейм, а по документам — Альфонс де Верне, даже в эту ночь на нарах предпочитал помнить о солдатской солидарности, связавшей его с несколькими представителями французской аристократии, о великой французской культуре, о людях высокого духа, которых в России Герцена и Чернышевского называли интеллигенцией, а во Франции — интеллектуалами. Но не прошло и двадцати четырех часов, как доктор Штернхейм убедился, что во Франции есть также Виши и жандармы.

Первым заставил его насторожиться жандарм Лебкен, с его острым взглядом, еще недавно служивший в полевой санчасти капитана Штернхейма.

На переходе через улицу в пригороде Парижа жандарм приветствовал доктора широкой улыбкой: — Бонжур, шер доктор¹⁰⁹.

Штернхейм продолжал идти, не оглядываясь. Нащупал машинально в грудном кармане удостоверение личности с арийским именем Альфонса де Верне, и пальцы его словно обожгло.

К счастью, война не изгнала из Парижа проституток. Одна из них пощекотала жандарму шею; тот, видно, предпочел любовные утехи гражданского долгу и оставил еврея в покое.

Вернувшись назавтра с работы, доктор узнал от консьержки, что о нем спрашивали какие-то люди в штатском. Он тут же бросил в чемодан две-три рубашки, смену белья, несколько любимых книг и ушел из дому по черной лестнице. Навсегда.

Чтобы выяснить свои возможности, Штернхейму

не понадобилось записной книжки. Прежде всего он обратился к своим французским друзьям, которые даже при оккупантах занимали высокое положение в обществе. Супруги П. встретили его у себя в саду, как всегда, приветливо, говорили с ним ласково, успокоительным тоном. Они считались интеллектуалами, принимали писателей и художников из Германии — настоящей Германии, по выражению госпожи, — той, какой она была, пока не пришли нацисты. Но теперь господин П. был заметно взволнован и смущен. А его жена, наоборот, высказалась так откровенно, что и возразить было нечего:

— Дорогой Филь! Ты ведь не захочешь подвергать своих друзей опасности? Эти маньяки подзревают всех и вся. Ты ведь знаешь, что у нашего Эмиля большое сердце?

Он этого не знал, но не стал выяснять. Следующий его визит тоже окончился горьким разочарованием. Однажды дождливой ночью Штернхейма позвали в дом к одному дипломату. Единственный сын дипломата бежал из плена, был ранен, состояние его было тяжелым. После того, как доктор Штернхейм вернул его к жизни, счастливый отец сказал ему: "Вы спасли моего сына. Обращайтесь ко мне в любой момент". И вот этот момент настал.

Когда он шел к дипломату, то думал уже не только о себе. Усадьба на юге Франции закрылась. Халуцим пытались бежать через Пиренеи в Испанию, иногда это удавалось. Но последнюю группу схватили жандармы. Эли спасся чудом. Услышав в телефонной трубке голос сына, долетающий с заправочной станции в районе Тулузы, и его сообщение о скорой встрече, доктор понял, что случилась беда. Он был рад тому, что знакомый дипломат в Париже — его имя мелькало в светской хронике газеты "Фигаро".

Апартаменты особняка на Ке Д'Орсé были

по-старинному великолепны, украшены гобеленами и шедеврами живописи XVI века. Резную дверь открыл знакомый лакей. К удивлению доктора, лакей спросил:

— Мсье к кому?

— К хозяину, старина.

— У мсье назначена встреча?

— Разумеется, — ответил уверенным тоном доктор.

Явно смущенный, лакей направился к мраморной лестнице. Штернхейм, с зонтиком в руках, ждал в прихожей. Несмотря на напряжение, он с удовольствием смотрел на женский портрет Гольбейна. Лакей вернулся и спросил о цели его визита. Тут смутился гость. Он смотрел в непроницаемое лицо лакея и не знал, что ответить.

— Скажи, пожалуйста, хозяину, что он срочно нужен Альфонсу де Верне.

Лакей удалился мягким шагом, а Штернхейм рассердился на себя за то, что голос его звучит просительно. Полуэтажом выше открылась стеклянная дверь кабинета и появилась сестра хозяина. Может быть, она и раньше не любила Штернхейма, но всегда была с ним безукоризненно вежлива. Ей было лет сорок. Стройной осанкой, стилизованным туалетом — тяжелым парчовым халатом и старинным чепцом, а также безмятежным выражением лица она была похожа на гольбейновскую принцессу Кристину. Опершись о мраморные перила, она сказала в пространство:

— Как можно в такое время беспокоить людей! Какой вульгарный, грубый эгоизм! Как это типично...

Когда за доктором захлопнулась тяжелая резная дверь, в его телефонной книжке оставалось еще много адресов, но мало шансов. Врата исхода из Франции превратились в щель, но настроение доктора все еще было бодрым — после долгой разлуки он снова был вместе с сыном.

И в концлагере Ла Верне они жили в одном бараке, спали на одном матрасе. (По иронии судьбы фамилия в его фиктивных документах происходит от места, где находился концлагерь.) И сам лагерь был еще не самым страшным, что могло случиться. Правда, избивали там постоянно, но не насмерть, как, например, в Дахау. А когда пришла зима, сыну удалось раздобыть одно рваное одеяло на двоих, и тем самым они попали в то число счастливцев (сорок процентов!), которым было чем накрыться в холодные дни. А в Дахау, говорили, заключенных держат в наручниках и по ночам оставляют на морозе. Дядя Эммануэль вместе с двадцатью тысячами евреев Бадена и Палатината попал в Гурс, самый ужасный из лагерей Франции. Он был специально построен на болоте. Еще до того, как заключенных передали гестапо, тысячи умерли от тифа, дизентерии и истощения.

— Как поживает господин профессор?

— Как прошла ночь, господин коммерц-советник?

— Не изволит ли либер герр доктор сказать, который час?

Немытые и оборванные заключенные упорно держались принятого в прошлой жизни этикета, упоминая звания и достижения друг друга, утверждали свою принадлежность к цивилизованному миру.

Но самое страшное было впереди.

Их поезд промчится по полям Франции, останавливаясь на глухих полустанках. Там добавят к нему товарных вагонов. В вагоны жандармы прикладами втолкнут женщин, детей, стариков, больных и даже инвалидов в колясках. Но сначала обыщут и отберут все ценности. Потом сосчитают по головам — вагон рассчитан не меньше, чем на пятьдесят человек. Поскольку идет война и немцы велют экономно использовать

транспорт, к моменту, когда поезд пересечет границу, в нем будет не меньше тысячи заключенных. И когда прицепят двадцатый вагон, колеса застучат на восток.

Поезда мчатся, колеса стучат, и снова — остановки по ночам. Все больше мертвецов в вагонах. А крики полураздавленных людей оставят за поездом такую звуковую волну, что если бы небо было полотном, а воды Рейна краской, то этот крик врезался бы в тело Германии и не стерся вовек. Однако немецкие железнодорожники и владельцы поместий в свое время скажут, что в окнах идущих мимо поездов они не видели людей, не слышали криков. До них доносилась только тошнотворная, неизвестно откуда появившаяся вонь. Может быть, они на самом деле ничего не видели и не слышали. Ведь в каждом вагоне был хотя бы один доктор Штернхейм, который убеждал братьев по несчастью прекратить напрасные крики и поберечь остаток сил.

Не удивляйтесь — но и в этом вагоне, несущем их в зловещую неизвестность, доктор Штернхейм все еще не унывал. Пока он мог сказать своим братьям: "Держитесь" и обнять сына — самого страшного еще не случилось.

На четвертый день вагон открылся, и им приказали выйти. Одни спрыгнули, другие с трудом сползли, а некоторые свалились на землю. Остро пахли березы. Впереди расстилался лиственный-хвойный лес, а над ним белели горные хребты. Виден был большой поселок с крытыми соломой домами. Люди молча смотрели. Судя по вывеске на платформе, они были в Польше.

"Приехали", — подумал Штернхейм.

— Смотри, отец, какая зелень! Какие великолепные горы! — сказал Эли. Рядом послышался выстрел и короткий вскрик. Жюльен, молодой спортсмен, не прекращавший тренировок даже в лагере Дранси, увидев, что его вагон остановился

у самой реки, спустился к ней по насыпи. Неизвестно, успел ли Жюльен напиться. Тело закачалось на волнах, кровь смешалась с водой. Конвоиры раздали лопаты и кирки. Из вагонов выволокли трупы; их велели складывать кучами у каждого третьего вагона. Почему третьего? Просто так. Порядок.

— Кто первый справится с работой, получит четверть буханки свежего хлеба!

Поскольку лица выражали недоверие, украинец из конвойных ухмыльнулся:

— Это соцсоревнование. Обещанное выполняется железно.

Прибывшие из Дранси, Берлина и Ле Миля не поняли шутки. Они только сейчас заметили, что конвой сменился — вместо французских жандармов рядом с немцами были украинцы. В отличие от французов, предпочитавших сидеть в вагонах, украинцы забрались на крыши, направив автоматы вниз.

— Жюльен жив! — чуть не вскрикнул доктор Штернхейм, остановившись над лежащим в грязи телом. Он увидел, что череп юноши цел, рана поверхностная. Жюльен приоткрыл один глаз. Во взгляде мольба: молчи. "Что делать?" — думал Штернхейм.

— Заройте меня последним, — прошептал раненый, когда доктор нагнулся, чтобы его поднять, — и оставьте отверстие для воздуха. Я все равно собирался бежать.

Так они и сделали. Странно — с тех пор они видели вещи пострашней, но сколько раз, лежа без сна в бараках Аушвица — Биркенау, отец и сын снова и снова спрашивали друг друга: похоронили ли они человека заживо или спасли обреченного?

— Приехали!

Пять страшных дней продолжался путь, под конец усилились просьбы о воде. Украинцы

слушали их с каменными лицами и обрывали крики короткими автоматными очередями. Люди ненадолго замолкали, потом снова кричали: воды! воды! Штернхейм из своего угла чуть слышно бормотал:

— Скоро дадут нам воду, ведь вчера дали хлеб. Значит — мы им нужны для работы. — То ли утешал ослабевшего сына, то ли предчувствовал, что самое страшное впереди.

Поезд, наконец, остановился на большой станции. Перед ними была вывеска: "Аушвиц".

Штернхейм кое-что слышал об Аушвице, но — неопределенно, и по-существу не знал, что это такое. Те, кто были ближе к оконной решетке, сообщали:

— Большой лагерь.

— Очень большой.

— Кругом масса колючей проволоки.

— Кроме немцев, видны только заключенные в пигамах.

— В пигамах?

Двери открыли лишь на следующий день утром. Первое, что бросилось в глаза, это длинные плетки в руках офицеров:

— Выйти! — Велено бежать — с лопатами, кирками, узлами в руках:

— Быстрее! Быстрее!

Отставших били плетью — по голове, по лицу. Люди валили и валили из вагонов. Женщины, дети. Всех гнали по дороге до стены. У стены сидели за столиками чиновники-немцы. Вдоль стены стояли вооруженные солдаты.

Над воротами — огромный лозунг: "Труд освобождает".

— Мужчины — направо! Женщины и дети — налево! — Люди бежали. Падали без сил. Их топтали ногами. Невозможно было понять, что происходит. И некогда думать. Казалось, что в этом потоке люди не ощущали даже боль разлуки.

Краем глаза Штернхейм видел, как матери судорожно прижимали к себе детей, и слышал, как мужа кричали им, махая рукой: "Скоро увидимся!"

Пока все это было по ушам, ошеломляло, но Штернхейм все же присматривался: бараки — приличного вида, аккуратные продольные и поперечные улицы. Чистота и порядок — на удивление. Доктора Штернхейма, который не терпел ни в чем неаккуратности, вид Аушвица несколько успокоил. Очевидно, это — большой рабочий лагерь. Они вошли с колонной мужчин в ворота, обогнули стену и бегом прибежали на пустую площадку. Штернхейм бессильно рухнул на землю. Минутный отдых. Построились в пятерки, выровняли строй. Вдоль строя прошли вооруженные солдаты, отобрали десять пятерок. Отвели в какой-то барак. Эли про себя молился, чтобы поскорее пришла их очередь. Он незаметно поддерживал отца. Тело отца клонилось к земле. Стоять пришлось больше часу, и у Эли уже не хватало сил. Наконец, пришла их очередь, их повели к баракам. По дороге встречались заключенные-старожилы. Под угрозой плетей Эли задавал на ходу вопросы. Те не отвечали, не останавливались. Все они были чем-то заняты — кто нес посуду, кто дрова. Переговаривались односложными словами, будто на каком-то особом языке. На всех — фуражки без козырьков. Лагерь оказался огромным, вернее, это были несколько лагерей, отделенных друг от друга колючей проволокой, через которую был пропущен электрический ток.

Шли они вечно. Штернхейм двигался с закрытыми глазами, его лицо позеленело, и Эли не понимал, как отец еще держится на ногах. Эли задыхался, по спине тек холодный пот.

Они снова вошли в ворота и прошли вдоль строя эсэсовцев с плетями в руках. Пот слепил глаза. Странно, почему-то Эли вспомнил в этот

момент халуцианскую усадьбу. Там висел на столбе железный рельс. В него били, созывая в столовую и на собрание. Эли просил убрать эту ужасную вещь, которая вызывала в его теле дрожь. Но инструктор сказал, что так принято в киббуцах Эрец-Исраэль. А то, что принято в Эрец-Исраэль, должно не пугать, а подымать дух.

Раздались три выстрела и крик. Прошли еще ворота, и еще, и увидели два одинаковых барака. На их крышах — высокие трубы. Бетонные столбы с промежутком в два-три метра. Колонна дрогнула. Кто-то крикнул:

— Газовые камеры!

Колонна подхватила:

— Нас сожгут! Газовые камеры!

— Не войдем, — сжал Эли руку отца, — будь что будет.

Автоматная очередь с одного конца колонны, вторая — с другого, и сопротивление сломлено. Куда денешься? Куда побежишь?

Эли толкают в спину, и он ведет отца к зловещему зданию, длинному и узкому. Те, кто вошли раньше, уже суетятся там голые. Эли помог отцу раздеться и стал к стене с опозданием, уже ожидая удара. Но капо лишь выругался. В помещении были навалены отдельными кучами вещи: рубашки, трусы, свитера, обувь и шляпы. Эли собрал свои и отцовские вещи, сложил их и распределил, как было велено, по разным кучам. И вот они уже стоят огромной плотной массой между кучами вещей, вдоль стены. Впереди — возвышение, на нем, расставив ноги в сапогах, — толстый офицер. В кобуре — маузер, в руке плеть. Он рассек плетью воздух, и стало тихо. Открыл было рот для речи, но ему помешал внезапный шум. На широком лице немца отразилась брезгливость: стоявший в центре первого ряда старик обмочился. Крайне смущенный, он, стоя босыми ногами в луже, пытался прикрыться

руками. Струйка мочи подобралась в сторону толстого офицера.

Вместо того, чтобы загородить несчастного от глаз убийцы, люди инстинктивно отпрянули от него. Хуже того, послышались смешки. Голую толпу охватила истерика. Несколько мгновений, слушая дикий смех мужчин, немец смотрел на них со сцены, наконец, сказал тихо:

— Еврейская свинья! — и махнул рукой. Двое молодчиков обрушили на несчастного дубинки, потом выволокли его под руки из зала, перед этим ткнув его в лужу лицом. Снова установилась тишина. Немец сказал:

— Здесь вы будете работать. Не дай вам Бог не выполнить точно приказа. Запрещается уединяться. Кто скрыл ценную вещь — будет наказан. Порядок, чистота и эффективность в работе — все, что от вас требуется. А сейчас — вперед, вы, дерьмо!

Напряженно вглядываясь вперед, Эли старался понять, куда их ведут. Идущих в начале толпы уже поглотило одно из зданий. В проходе между бараками раздались выстрелы. Три выстрела — и какой-то еврей избавлен от сорока восьми ворота ада. А может быть — три еврея избавлены?..

Перед тем как войти во второй барак, они попали в руки парикмахеров. Их было человек двадцать, но едва ли хоть один из них был настоящим парикмахером. А инструменты их уж точно не предназначались для бритья людей. На парикмахерах были те же полосатые "пижамы", что и на всех заключенных. Их делом было — брить волосы на голове, под мышками и в паху. Как измерить боль? Вопли "клиентов" в этом первом кругу ада, где брили тупым инструментом, выдирая волосы с кожей, были не слабее, чем в его последнем кругу. Но ни там, ни здесь никто за пределами ада этих воплей не слышал.

Когда пришла очередь Эли стать перед низко-

рослым и беззубым парикмахером, он сжал губы, чтобы не кричать. А его мучитель был всего лишь заключенным, который догадался назваться парикмахером. Он не хотел ни терзать, ни мучить, а всего лишь спасал свою жизнь, поскольку был интеллигентом, не имел "полезной профессии" и был обречен на лево. Сейчас он был на дежурстве — с утра до вечера, такой же бесправный и лишенный воли, как и его машинка.

Помещения в этом бараке выходили в длинный коридор, как купе в вагоне. Во втором помещении была "ванна". Не успел Эли понять, что это за мутная жижа перед ним, как оказался в ней по колено. Бассейн был наполнен лизолом или другим дезинфицирующим средством с тошнотворным запахом. Эли испугался за отца — не рухнул бы в эту жижу, но поддержать его не смог — ему тут же приказали повернуться, и ответственный за дезинфекцию заключенный провел тряпкой, надетой на палку и смоченной в этой жидкости, под мышками, в паху, по черепу, по спине и между ягодицами. Из отделения санобработки открылась дверь в следующий отдел. Он был больше предыдущего, с голыми стенами и круглыми отверстиями в потолке, похожими на основания труб. Из отверстий вырывался белыми кольцами пар. Когда втокнули последнего, железная дверь с шумом захлопнулась. Раздались крики:

— Газ! Газ!

Через две минуты из этих страшных отверстий полилась холодная и горячая вода. Надо было попытаться прикрыть бритые головы и другие части тела, чтобы не обжечься. Настроение изменилось, как по волшебству. Мужчины шлепали себя по телу, плескались в воде, слышался даже робкий смех. Доктор Штернхейм стоял в оцепенении, опустив руки и повесив голову. Сын уловил за плеском воды сдерживаемые рыдания

отца, и сердце его сжалось.

— Папа, это — душ! Ты теперь чистый! — Плечи отца тряслись. Эли погладил отца по спине, и особое тепло передалось его пальцам. Проглотив комок в горле, он прошептал:

— Теперь нам, наверное, дадут чистое белье. Наверное, мы им нужны.

Снова открылась дверь. Перед ними были заключенные в полосатых пижамах. Отец с сыном как автоматы подошли к вещам. У каждой груды их стоял заключенный. Приказано было протянуть руки. Протянули. Заключенный выдал им рубашки, полосатые штаны, матерчатые сандалии, фуражки без козырька, железные миски и гнутые кружки. Они подошли к стене и, дрожа, натянули на себя одежду.

— Господин, — обратился долговязый еврей к доктору Штернхейму, — может быть, поменяемся одеждой? Эта на меня не лезет.

Штернхейм взглянул отрешенно, не понимая, чего от него хотят. Со всех сторон слышались мольбы, просьбы и переговоры. На минуту показалось, что они — на Блошином рынке в Париже. Некоторые предлагали порцию завтрашнего супа за подходящую фуражку. Среди общего хора голосов послышался истерический крик:

— Эти штаны с меня спадают!

Их вытолкали на улицу. Другие заключенные уже сидели, ссутулясь, на земле, похожие друг на друга до трагической неразличимости. Отец и сын оказались за длинным дощатым столом, на котором стояли огромные баки. Мощного вида заключенные, видно, подобранные специально, разливали суп по мискам. Чтобы выпить суп, дана была минута. Кто не успел — был наказан. Держа дрожащими руками миску, Штернхейм дул на жидкую баланду. Капо взмахнул плетью, и суп пролился на землю. Штернхейм стоял, свесив руки, остатки супа стекали с дрожащих губ. Эли поспешил поднять

драгоценную посудину и отойти подальше.

Их снова погнали к воротам. Эли уже не считал ворота и бараки, ни на что не смотрел — хотел одного — лечь. Полежать хоть немного. Он не стоял на ногах, а что же будет с отцом? Если их решили убить, зачем все издевательства? Просто ли это садистские забавы или обдуманый план, как до предела унижить?

Приказано было остановиться у огражденных проволокой барачков. "Сесть!" Сели по порядку, как шли. Старались соблюдать порядок, не двигались ни направо, ни налево. Отец свалился, Эли посадил его, чтоб сидел, как положено. Голова отца повисла. Это ничего, — думал Эли, обняв его свободной рукой, а другой держа миску — спрятать ее было некуда. Позже Эли напомним отцу, что произошло в тот момент, и тот решительно возразит: ничего этого не было, Эли выдумал. Но Эли отлично все помнил! Они сидели там много часов. Наступил вечер, и Эли тоже свесил голову. Из последних сил преодолевая дремоту, он смотрел горящими глазами на то, что творили немцы вместе со своими псами. Освобождали десять больших барачков, стоявших через дорогу, от их обитателей-цыган. Цыгане там содержались целыми семьями, со множеством детей. Их яркая одежда выделялась в море черного и полосатого. Выселение было для них, как видно, полной неожиданностью, некоторые даже пытались воевать с надзирателями. Плеть со свинцовым шариком обрушивалась на головы, стоял женский и детский визг. Эли видел, как двое цыган набросились на немцев и пытались вырвать у них из рук плети. Натренированные псы кинулись на этих отважных людей и впились им зубами в затылки. Раздались выстрелы. Внезапно стало тихо, длинная вереница людей потекла за ворота.

Эхо, повторявшее крики цыган, еще долго

оглашало воздух после того, как их увели. Допоздна очищали бараки, отправляя цыган в газовые камеры. Все это время Эли придерживал дрожащую голову отца, не просыпавшегося с той минуты, как сел на землю с тысячами других людей. Когда, наконец, их ввели в бараки — по 400 человек в каждый, — там стоял еще запах прежних жильцов, казалось, что из темных углов глядят на них с укором чьи-то глаза. Кто-то нашел ложку и нож и поспешил их спрятать.

Появился капо, высокий поляк с короткой шеей, широкими плечами и пронзительным взглядом маленьких глаз. Прошел в центр барака, расставил ноги, упер руки в бока. Осмотрелся и сказал без предисловий:

— Не думайте, что вас привезли сюда работать. Пробудете здесь несколько дней и отправитесь по единственной идущей отсюда дороге. Кто спрятал ценности, пусть лучше сдаст их мне сейчас и избавит себя от мучений. Вам ведь все равно ничего уже не нужно. — Намекнув на близкую встречу с Моисеем, прибавил: — Тем более, что ваш Моисей, как известно, был не в восторге от золотого тельца. — Не успела милая шутка слететь с его губ, как он проорал хриплым голосом нечто, от чего все вздрогнули, но чего никто не разобрал. Тогда поляк заорал вторично:

— Сказано вам — лечь, дерьмо! Лечь!

Люди растерянно переглядывались. Эли потянул за собой отца на пол. В барак ворвались надзиратели. Все упали на пол, сбились в кучу. Рвущимся в бой надзирателям капо подал знак подождать. Наступая на лежащих людей и действуя то палкой, то сапогом, он повернул головы и тела в одну сторону и наконец засмеялся, довольный: пол барака был покрыт неподвижно лежащими в причудливых позах людьми. Не получив золота, он рассердился и стал бить всех подряд по головам. Кто смел застонать, получал вдвое.

На следующий день татуировали номера. Стоя у стола с засученным рукавом, Эли рассмотрел молодого человека с иглой для татуировки — детское лицо и толстые стекла очков. Видно, по причине слабого зрения он здесь, а не на фронте. Работая, он шеголял французскими словечками, которые произносил с эльзасским акцентом. Доктор Штернхейм, которого ужасная ночь в цыганском бараке каким-то образом вывела из оцепенения и первого лагерного шока, осмелился спросить:

— Нам сказали, господин офицер, что нас сюда привезли не для работы. Зачем же тогда эти номера?

На минуту смешавшись, молодой немец просто-душно и совсем по-человечески возразил:

— Во-первых, я не офицер, а ефрейтор. А во-вторых, кто вам сказал такую глупость? Что же — для вас тут Баден-Баден открыли?

Может быть, Эли зажмурился от боли, а скорее — от другого — его мучил вопрос: кто из двоих врет, поляк или немец? Открыв глаза, он увидел на покрасневшей коже черный номер, который с этой минуты будет ему вместо имени, вместо рода и племени — А 254809.

На следующий день ничего не произошло, и еще на следующий — тоже. Раз в день пили мутную баланду, которая считалась супом. Не делали никакого дела, лишь выполняли нелепые приказы. Вечером шли в барак, лежали до утра бок о бок на голых нарах. Заболевших дизентерией забирали из барака. По утрам у дверей останавливалась телега, и приставленные к этому заключенные деловито и молча уносили тех, кто умер ночью. Если капо хотелось помахать плеткой, то бил кого попадет — налево и направо. Орал староста барака. Лаяли псы. И был вечер, и было утро, день пятый. И на пятый, добром помянутый день, разнесся по лагерю слух — словно камень бросили в муравейник. Уже на утренней проверке

заговорили о том, что сегодня составят списки рабочих. Было неясно — что за работа? Для кого и где? И что это сулит евреям? Все заспешили — не опоздать бы. Ведь что может быть хуже лагеря без работы? Штернхейм с сыном пошли записаться. Вошли по очереди, притворились чужими, чтобы их не разлучили, назло. За длинным столом сидели трое немцев и капо, стояли вооруженные надзиратели. К счастью, там не было поляка, знавшего, что они — отец с сыном.

Эли выглядел подростком, а Штернхейм — не слишком сильным. Старых и слабых куда-то уводили, предварительно записав номера.

— Парикмахер, — не моргнув глазом, ответил доктор Штернхейм на вопрос немца о профессии.

— Слесарь, — сказал Эли.

Офицер подозрительно посмотрел на его руки:

— Не похож ты на слесаря.

— Я с детства работал в слесарной мастерской, господин. Мой отец и дед — тоже были слесари.

— А где они?

— Дед умер, а отец...

Немец записал: "Ученик слесаря". Отца увели вместе с двумястами других заключенных.

Около тысячи заключенных стояли на плацу и ждали. Прошло несколько часов. Кто-то упал от слабости. Конвой с собаками появился, когда стемнело. Разобрались по пятеркам. Эли тихонько толкнули в бок, и он переместился изнутри строя наружу. Его место занял человек постарше. Похоже было на то, что здесь работал какой-то тайный код — без слов. Молодые постепенно переходили в наружные ряды, а пожилые и слабые занимали их место. Эли скоро понял, для чего это делалось.

Колонну заключенных сопровождали с двух сторон эсэсовцы с плетью. Рядом — капо с палками. Сбивавшийся с шага получал удар. Но и тому, кто слишком старался, тоже попадало.

Били просто так, для развлечения. И это развлечение доставляло тем больше удовольствия, чем громче были крики и стоны избиваемых. С того дня так и повелось — молодые прикрывали старых. Неясно, замечали ли немцы и их помощники эту молчаливую солидарность. Доктора Штернхейма не было в колонне, когда его шестнадцатилетний сын защитил от эсэсовской палки незнакомого еврея. Старик тронул его за плечо:

— Очень было больно? — Эли почесал затылок:

— Можно вынести.

Старик сказал:

— Спасибо, сынок.

Эли ответил:

— Вам спасибо.

— За что?

— Я рад, мне кажется, будто я защитил собственного отца.

— А где твой отец?

— Не знаю. Нас разлучили.

— Даст Бог, увидишь его живым и здоровым.

— Аминь, — ответил Эли и вздрогнул, услышав музыку Мендельсона, звучащую словно с другой планеты. На площади стоял оркестр, человек двадцать с духовыми и струнными инструментами, барабаном и тарелками. Некоторыми из этих музыкантов еще недавно гордились концертные залы Берлина и Вены. Теперь они стояли кружком, похожие друг на друга в лагерной полосатой одежде и в фуражках без козырьков на бритых головах. Пустым, обреченным взглядом они следили за палочкой дирижера, который стоял на перевернутом ящике в центре круга. Дирижер был крупной знаменитостью и, видно, немцы, учтя это, дали ему право не одевать бескозырную фуражку. Оркестр приветствовал свадебным маршем людей, идущих на труд, который "освобождает"¹¹⁰.

Капо перестал орать: "Левой, левой", чтобы не

мешать оркестру. Они прошли мимо огромного здания, огражденного колючей проволокой под током. Оно было похоже на промышленный комбинат. Крайний в пятерке потянул Эли за рубаху:

— Эй, парень, старик-то твой умер!

— Кто? — вздрогнул Эли. Отца с ним не было.

— Кто умер?

— Твой сосед.

— Умер?! Я с ним минуту назад говорил! — Повернулся и увидел, что тот лежит на земле. Мутная пена на губах, глаза открыты.

— Надо попытаться помочь, — склонился Эли над лежащим.

— Чего пытаться? Мне бы такую смерть.

Назавтра Эли привели в большую слесарную мастерскую со станками и инструментами неизвестного ему назначения. Начальник, эсэсовский офицер, подозрительно на него взглянул:

— Ты кто такой?

— Слесарь, господин офицер.

— Что же ты стоишь без дела, не вносишь своего вклада в общее дело?

— Мне не сказали, чем заниматься, господин офицер.

— Не сказали? Так сделай мне металлический ящик для цветов. У жены сегодня день рождения, и я хочу что-то вроде этого, — показал он картинку в журнале, — что-нибудь красивое, для гостиней, понятно?

— Слушаюсь, господин офицер!

Был бы это его последний день в Буна — Аушвице и, вообще, последний день в жизни, если бы не Сашка и Долек. Сашка Кондрашин, советский военнопленный, один из старожиллов Буна — Аушвица, стоял слева, у большого токарного станка. На Сашке — полосатая рубаха и драные галифе. С другой стороны, через стол, работал парень, которого все называли Цыган.

Эли решил, что он — один из последних уцелевших цыган. Но тот оказался одним из последних обитателей краковского гетто и главных его бойцов. Настоящее имя его было Долек. В свое время Сашка взял Долека, который выдал себя за слесаря, к себе и научил работать на токарном станке. Долек велел Эли собрать из-под станка металлические стружки, и вдвоем с русским они сделали из железных отходов ящик для цветов замечательной красоты. Когда немец вернулся, Эли красил изделие блестящей черной краской. Немец шел между станками, похлестывая плетью по сапогу, уже настроенный полоснуть ею по спине нового слесаря. Остановился и изумленно открыл рот. Злой огонь в глазах погас. Протянув руку, похлопал юношу черенком плетки по плечу. Другой рукой вынул пачку дорогих сигарет и вручил в знак расположения "нашему молодому мастеру". Эли увидел, что офицер в хорошем настроении, и осмелился попросить:

— Господин офицер, в отделении Буна-3 находится мой отец. Нельзя ли его сюда перевести, очень прошу...

— Молчать, еврейская свинья! Посади вас за стол, вы и ноги на стол!

Эли раздал сигареты рабочим мастерской, а себе не оставил ни одной. Каждая такая сигарета ценилась, как четверть буханки хлеба. Сашке и Долеку он дал по две штуки, довольный, что смог их отблагодарить. Долек взял сигареты только для того, чтобы обменять их на что-то другое. С тех пор они жили в одном бараке, и дружба прочно спаяла их. Рабочие-специалисты имели право находиться за пределами барака, и Эли видел, что Долек постоянно входил и выходил из помещения. С наступлением комендантского часа он усаживался на нарах и вынимал какие-то крошки из кармана рубахи.

В округе было много лагерей-спутников Аушви-

ца. В одном из отдаленных женских лагерей, у торфяного болота, находились девушки-еврейки, подруги детства Долека, которые вместе с ним были схвачены в Кракове за участие в подполье. Каждую пятницу девушки собирались вечером в углу переполненного барака, чтобы встретить субботу "светом и тихим пением".

— Встреча субботы в Аушвице — да ты шутишь!

— Как можно этим шутить? — спокойно возразил Долек и показал ему воск, вымененный на сигарету. Из этого воска он слепил свечи и собирался передать их в женский лагерь, отделенный от мужского семью рядами колючей проволоки. Это обещал сделать капо, которому он заплатит второй сигаретой.

Для девушек свечи будут не только подарком, но и знаком, что Долек, их друг и руководитель, жив. В ту же ночь Долека по особому приказу взяли. Неизвестно — то ли в гестапо узнали о его подпольной деятельности, то ли — по какой-то случайности. Много недель подряд Эли экономил на хлебе, покупал воск и отсылал способом Долека субботние свечи. А девушки так и не узнали, что получают свечи не от живого Долека, а от того, который остался жить в сердце мальчика из Парижа.

Миллионы людей в то время с нетерпением ждали конца зимы. С приходом весны всегда возрождаются в человеческих сердцах надежды, даже в лагерях уничтожения. Но небо над Аушвицем потемнело — бедствия обрушивались одно за другим. В центральном лагере и во всех отделениях комбината смерти менялись надзиратели, начальники, сторожа. В марте одна за другой проводились массовые селекции.

В это время в зону Буна-1 попал доктор Штернхейм, и отец с сыном оказались ненадолго вместе. Неизвестно — случайно им повезло или немецкий офицер, хоть и возмутился "нахальством

еврея”, но исполнил его просьбу. В то утро, когда в барак вошел отец, которого сын считал мертвым, и они упали друг другу в объятия, не было в мире людей счастливее. Их воля к жизни удвоилась, они поддерживали друг друга во всем.

В тот день евреев отделили от остальных заключенных, и старший офицер сказал Эли:

— Через три дня, в присутствии офицеров и большого начальства, состоится футбольный матч между лагерем Аушвиц — Буна и Аушвиц — Центральный. Будешь вратарем Буны. Постарайся хорошо защищать наши ворота, от этого многое зависит. Ты меня понимаешь.

— Есть, господин офицер. Понимаю, господин офицер.

Эли задрожал всем телом, так как хорошо понял, на что намекал немец. Но всей степени подлости немцев предвидеть он не мог. Весь лагерь волновался перед роковой игрой. Эли и его товарищам не спалось. То ли из-за возраста, то ли от недостатка опыта, то ли по вине защитников Эли пропустил 5 мячей, и команда-соперница разбила их наголову. Но в газовые камеры в этот день отправили именно победителей и их болельщиков. Оказалось, что судьба их была решена начальством лагеря еще до игры, во время утреннего инструктажа в конторе, за чашкой кофе со сливками.

Эли уцелел, а беда случилась с ним через пять дней. По неизвестной причине произошел мощный взрыв, разрушивший половину здания и убивший пять человек, в том числе и капо. Даже немцы не считали, что он совершен преднамеренно. Тем не менее бригаду котельщиков обвинили в ”преступной халатности” и казнили, причем трое из четверых взошли на виселицу с ожогами. Эли вытащили из-под обломков с поврежденной ногой. Русский солдат Саша промыл ему раны, наложил на ожоги компрессы, но не заметил, что у него

переломано бедро. Товарищи по бараку поддерживали его в это утро на поверке, а в мастерской покрывали по работе. Но вечером Эли затрясло от сильного жара.

Доктор Штернхейм находился в это время в лагере Буна-3. Беспроволочный лагерный телеграф донес до него известие о взрыве, случившемся в Буна-1, об убитых, повешенных и раненых. Доктор Штернхейм понял, что сын ранен. У доктора было три золотых коронки, к счастью, не на передних зубах, а сбоку. Ему удалось, невзирая на адскую боль, сорвать две из них. Одну он отдал капо, чтобы тот перевел его в лагерь сына, а вторую — другому капо, который перевел их обоих в "Семерку" Биркенау. В больничном бараке работал знаменитый, ранее предупрежденный хирург. Чтобы профессор оперировал под наркозом, ему тоже надо было дать взятку. Правда, хлороформ в Биркенау был большой ценностью, но все же у главного хирурга был к нему доступ. Штернхейм сорвал третью коронку и отдал профессору. На этот раз он, видимо, задел нерв или повредил себе голосовые связки. Доктор почти онемел, мог произносить лишь обрывки слов, похожие на стоны.

Профессор Л. выполнил обещание лишь наполовину. Он дал Эли наркоз, но в недостаточном количестве. Операция проходила под крики мальчика, заглушаемые тряпкой, которую он сжимал зубами. Доктор Штернхейм сдавливал виски сыну, руки и ноги Эли были связаны, и отец не знал, о чем сперва просить Господа — чтобы умереть ему за сына или чтобы хирурга разразило громом — через пять минут после операции. Все равно мольбы его никто не слышал.

Через пять дней после операции Эли с отцом уже были в бараке работоспособных. А на седьмой день, между Пуримом и Песах, прокрались назад в "Семерку", так как по ноге мальчика

угрожающе растеклась гангрена. Коронок во рту отца больше не было. Лишь одна забота привязывала его к жизни — уберечь сына от понимания, что его конец неминуем и близок.

Штернхейм устроил голову сына поудобнее у себя на груди. Кончиками пальцев гладил светлые отросшие волосы. Вспоминал восьмой барак. Ту зиму, когда они были вместе. Соседи по нарам смеялись над отцом, который каждую ночь клал руку под голову сыну. Для них Эли был взрослым мужчиной. И всем сердцем отец молился об одном — чтобы им лежать на этих нарах вместе и завтра.

— Мы выстоим, сын, — твердил он тогда каждый вечер, хотя у самого уже не хватало сил, с трудом выдерживал день у тяжелого пресса. Как-то в субботу Эли с другого конца помещения увидел, что отец опустил голову на железную болванку. Не успел подбежать и поддержать, как его опередил только что назначенный эсэсовец. Вслед за эсэсовцем спешил капо. Они увидели, что Эли оставил рабочее место, чтобы помочь отцу, и оба ударили юношу по голове, один толстой палкой, а другой — плетью. Вечером Эли с трудом втащили на нары. Кровь капала со лба и со щек. Он не мог даже съесть своего ломтя хлеба. Отец положил ему компресс на раны и сказал сквозь слезы:

— Зачем, зачем ты это сделал? Ты ведь молод и должен жить, а я...

Эли закрыл ладонью отцу рот и не дал закончить фразу. А всего-то было Штернхейму 43 года! На следующий день Эли, лишившийся во время поверки последних сил, зашел за угол ближайшего барака и свалился. Штернхейм нагнулся над сыном, пытаясь привести его в чувство. Загородил его своим телом и сказал:

— Если в газ, то вместе.

Случилось чудо — надзиратель задержался, и мальчик встал.

В ту ночь на нарах сын высвободился из объятий отца и спросил:

— За что, в сущности, мы боремся?

— За то, чтобы сохранить человеческий образ и подобие в доме рабства.

Слова, будго из другого мира. Странно. Усвоенное в детстве выражение всплыло в памяти.

”Мы победим смерть”, — сказал Штернхейм убежденно и поцеловал сына. Это было в ту тяжелую зиму. И вот Эли лежит и умирает. Единственный, такой любимый сын. Не абсурдна ли наша способность страдать и терпеть? Любой дегенерат может в любой момент войти в барак и послать в газовую камеру или пустить пулю в лоб им, двум праведникам, превратившим пасхальную ночь в ночь бдения.

А Эли в это время рассказывал свою историю, истории товарищей по лагерю. Он говорил быстро, возбужденно. Отец смотрел в его лихорадочно блестящие глаза и понимал, что это возбуждение — последняя искра жизни его мальчика.

Многое, о чем говорил Эли, было неожиданным для отца — особенно то, что случилось после их разлуки. Шепотом, но внятно, отец спросил:

— А ты знаешь имена девушек, которым посылал свечи?

Эли не знал. Он повернулся к Гонде, который был старше его лет на пять и моложе всех остальных в бараке:

— Когда встретятся уцелевшие из Кракова, спроси о девушках, отмечавших субботу в Аушвице. Скажи им, что это я продолжал посылать им свечи после Долека.

Тут опять послышался разбитый голос отца. Он произнес, из последних сил, но отчетливо:

— Ты, милый, сам встретишь их и сам расскажешь. Эли улыбнулся и промолчал.

Месяц из окна освещал их лбы, серые, точно кладбищенские плиты. Было тихо. Вдруг раздались стоны, ужасные, как скрип механической пилы, наткнувшейся на гвоздь. Гонда и Натан вскочили и подошли к нарам Хавива, у которого был приступ малярии. Попытались посадить его поудобнее, чтобы облегчить дыхание. Хавив что-то бормотал в бреду, а что — Натан и Гонда не понимали.

— Сходите к доктору Курицу. Пусть не освобождает меня от уборки. Улицы. Улицы. Салоники. Не хочу, чтобы доктор Куриц освобождал сына Хаима Хавива, — перевел земляк Рафаэля, свесившись с верхних нар, с которых уже не мог слезть от предсмертной слабости.

Гонда вытер лоб раввина влажной тряпкой:

— Он весь горит.

Хавив, казалось, впал в глубокий сон. Друзья вернулись на свои нары, к своим думам. Потом снова посмотрели в сторону раввина. Один за другим все обитатели "Семерки" проснулись. Хавив сидел на нарах, выпрямившись, и пел с просветленным лицом. Его голос трогал сердце. Из углов тихонько подтягивали слова сефардской молитвы, которую произносят перед Новым годом:

— Вспоминаю на смертном одре свои грехи и свои вины...

А Филон, который в первый раз слышал эту мелодию, горько зарыдал.

Рафаэль Хавив дошел до слов: "В руки Господа..." и замолк.

Распахнулись двери, в помещение с шумом ворвались капо, пес, два вооруженных солдата и еще кто-то. Хотя лицо вошедшего было в тени, в бараке поняли, что перед ними встал, расставив ноги, с плетью в руке, дьявол Аушвица — доктор Менгеле¹¹¹.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Д Ó М А

Я смотрел, — и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя — она поддержала Меня.

(Исайя 65:5)

”МЫ ЗДЕСЬ!”¹¹²

У костра

По субботам тоска забирала партизан сильнее, чем в другие дни. Оставшиеся в лагере и вернувшиеся с задания, здоровые и раненые — медлили у догорающего костра перед тем, как забраться в землянку или в дупло на ночлег. Спали на земле или на соломе, укрывшись завшивленными полушубками, уже привыкнув к тяжелым едким запахам пота и гниющих портянок.

Пошел дождь, трещали влажные ветки, из-под них нерешительно вырывались желтые и голубые языки пламени. Остро пахло дымом.

Фалек и Завка сгребали прутьями печеную картошку, с которой не сводили глаз сидящие вокруг партизаны. Никто не протягивал к ней руки, не пытался опередить соседа. Передавали еду друг другу, и тот, до кого еще не дошла его порция, жадно прислушивался к аппетитному хрусту хорошо пропеченной картофельной шелухи на зубах соседа.

”Доля моя, доля”, — пела Хася. Удивительный голос был у этой девушки — он продолжал звучать и тогда, когда она переставала петь.

”Доля моя, доля”, — пропела Хася и, словно задохнувшись от тоски, замолчала. Мигнули две крайние звезды Большой Медведицы. Мать гладит Хасю по лицу, что-то говорит... Хасе всегда хотелось знать, что видела мама, когда закрывала

глаза, зажигая субботние свечи, но она не смела спросить. Тихо в лесу, только из черных провалов между семью огнями Большой Медведицы раздаётся чей-то крик, кто-то все спрашивает — разве не было другого выхода?! Другого пути?!

Снова и снова те же вопросы. И те же ответы, как пластырь на ранах: посмотри на других. И они оставили своих матерей. А некоторые — не только матерей!

Но ее мать была так молода... Она могла быть партизанкой, одной из нас!

Кто меньше нас знал, что ожидает нас в лесу? Прошли уже лето, и осень, и мучительная зима, и вот уже наступает весна. И мы, большинство из нас, — живы. Кто бы мог подумать — пошли воевать и не погибли!

— Мама! Я не могу взять тебя в лес. Но и одна не хочу уходить!

— Майн кинд, — сказала мать, — ду бист шён алайн¹¹³.

Плотная стена леса поглощала искры огня, словно хищная жаба — ночных бабочек. Потирая спину о ствол елки, Мотек стругал дудочку. Шауль нарушил молчание:

— Наступил канун субботы. Кто не успел в прошлый раз — пусть рассказывает сегодня.

Он осмотрелся и сказал отрядному писарю — бывшему учителю иврита доктору Бранту, который сидел чуть-чуть в стороне, обхватив руками колени и положив на них подбородок:

— А Шмуэль пусть положит свою тетрадь на пень и записывает.

Может быть, Шауль вспомнил в этот момент рассказ о рабби Салантере¹¹⁴, нарушившем пост в Судный день из-за холеры, и сказал нараспев:

— Учитывая время и место, разрешаю писать в святую субботу, чтобы рассказы спасшихся дошли до людей.

Рассказ Илюши (Элияху)

В нашем городе было три Юденрата. Первый возник по приказу гебитскомиссара¹¹⁵. Его членами были директор местного банка, уважаемый в городе адвокат, трое ремесленников, четверо торговцев, один промышленник и врач — доктор Кантор. Главой Юденрата назначили директора школы, Лихтмана.

В это время немцы разрушили великолепную синагогу, гордость нашего города, приказав самим евреям — мужчинам, старикам и даже детям — разобрать развалины, по кирпичику. Христиане приходили каждый день покупать кирпичи, оставшиеся от святого дома, и надзиравшие за работой немцы клали деньги в карман. Это продолжалось много недель, пока место, где стоял Божий дом, не изменилось до неузнаваемости. Бывший учитель истории господин Лихтман сказал, что так, вероятно, выглядела Храмовая гора в Иерусалиме, распаханная римлянами после восстания. Но мы не восстали. Мы только плакали. В наших местах шла охота на зайцев и в период первого Юденрата немецкие офицеры брали себе молодых евреев вместо охотничьих собак, чтобы гоняли зайцев. Тогда нам разрешили забрать из наших бывших домов посуду, постели и стулья, что немного облегчило жизнь.

Приказы немцев Лихтман и его помощники старались всячески смягчать. Они служили общине, помогали беженцам, тайно пробравшимся в Лиду из Виленского гетто. За это руководство Юденрата поплатилось и, как это издавна происходило, одним из первых был убит глава общины.

Через два дня после убийства руководителей первого Юденрата в Лиде был создан второй Юденрат. Он состоял из энергичных и ловких людей. В тот период в гетто возникли десятки мастерских — столярных, портняжных, скорняжных

и прочих. Предприимчивые люди создали кооперативы для изготовления ювелирных изделий и механических игрушек — к удовольствию гебитско-комиссара и его свиты, которые могли радовать своих детей и близких прекрасными подарками. Немцы удивлялись изделиям наших ремесленников, и приятный в обращении герр гебитско-комиссар Кристиан Вестфали даже похвалил прилежных работников и напомнил им, что от них зависит жизнь двух тысяч душ. А сотрудник Юденрата поспешил добавить:

— Евреи, наша безопасность — в ваших руках! Так и жили люди в мире иллюзий. Но в первую пятницу мая в четыре часа утра устроили селекцию. Из общего населения гетто — 6700 человек — отобрали и отвели к вырытым за городом ямам 5200. Расстреливали группами по 40 человек. Когда пришла очередь третьей группы, из толпы обреченных раздался страшный крик: "Идн, ратевет зих!"¹¹⁶.

Крик нарастал, в него все громче вливались голоса взрослых и плач детей. На головы немцев и белорусов посыпались камни и комья земли. Началась стрельба, сначала из автоматов, потом из пулемета. Евреи тысячами разбежались, устремляясь к лесу. Сотни скошил пулемет, многих схватили живыми и забили до смерти. Ночью десятки спасшихся, среди них — мой отец и сестра, появились в лесу. Четверо суток они скрывались, не имея во рту ни крошки. Около двухсот бежавших, измученные и отчаявшиеся, тайно вернулись в гетто, среди них моя сестра Зельда, которой необходима была немедленная операция. Она погибла в Майданеке вместе с другими евреями Лиды. Мой отец в гетто не вернулся.

Созданием третьего Юденрата, возникшего после той черной пятницы, руководил эсэсовский офицер Виндиш. Члены этого Юденрата уже покорно

служили немцам. Я их по именам не помню. Как-то ночью я увидел во сне отца. Он приказал мне встать. Проснувшись, я поспешно оделся и тайно покинул Лиду. Пришел пешком, страшно усталый, в гетто Желудка́ к нашему родственнику-раввину. Застал у него доктора Атласа, который пришел прочесть каддиш по отцу, матери, по всей своей семье, убитой на Козловщине. Узнав, что доктор Атлас собирает партизанский отряд, я, вместе с товарищем, ушел из Желудка́, чтобы присоединиться к партизанам. Но доктора Атласа уже не было в живых.

Илюша устроил девушку, голова которой лежала у него на коленях, поудобнее, и прибавил:

— А Двору я впервые встретил в Лиде. Она пыталась перейти границу, чтобы попасть в Вильно. Я решил было идти с ней вместе, но не мог догнать ее. Не думал, что мы еще встретимся в этом мире — если можно назвать это лесное болото частью Божьего мира!

Рассказывай, Ленч!

Сырая ветка все еще дымилась в догоравшем костре. Елки вокруг поляны почернели. Тишина охватила людей и еще больше сблизила их. Фелек подтолкнул ногой ветки в золу. Снова весело замелькало пламя. Двора обернулась к Ленчу, своему соседу справа, и попросила рассказать о том, как он, житель Вены, оказался в белорусских лесах.

Ленча обычно называли Малышом, потому что он выглядел совсем мальчиком. Он, в сущности, не был венцем, а попал в Вену из Сиротского дома в Динслакене. Из Вены его выслали в Збоншинь как сына польского гражданина. Там он познакомился с доктором Рингельблюмом, который помог ему добраться до Варшавы. В

Варшаве он выучил идиш и уже немного говорил по-польски. А когда немцы взяли Варшаву, он бежал в Вильно, где жил его дядя со своей дочерью Черной. В июне 1941 года он опять бежал от немцев и вскоре оказался среди отступавших советских войск. Он чуть не погиб, когда немцы бомбили колонны русских. Он уже почти добрался до Смоленска, но по пути так ослабел, что потерял сознание.

Все время своих странствий — год и восемь месяцев — он надеялся вернуться в Вильно и не знал, что Черна, прекраснейшая из девушек, лежит в Понарском рву. А он так и не успел сказать ей о своей любви.

Интересно ли все это сидящим у костра? Ведь среди них нет никого, кто не пережил бы потерь и не странствовал в поисках спасения. Он заметил, что отрядный писарь открыл новую страницу в тетради, и вспомнил про свой дневник, который оставил в Вене на складе фирмы "Клайн унд Кербер". Если тетрадь пропала и если он тоже не уцелеет, то, может быть, стоит оставить какой-то след в записях доктора Бранта о том, как он провел войну.

— То, что я вам расскажу, покажется невероятным. Но теперь мы уже знаем, что в нашем мире все возможно.

Советские войска, с которыми я дошел почти до Смоленска, были окружены и взяты в плен. Я лежал на дороге без сознания, меня подобрала немецкие танкисты и отнесли в немецкий госпиталь. Три дня я не открывал глаз. Но оказалось, что кто-то зорко следил за мной. Недалеко от меня лежал младший лейтенант, который удивился, увидев среди солдат мальчика в гражданской одежде, бормотавшего в бреду по-немецки. Может быть, я ему кого-то напомнил, но когда я и на завтра не очнулся, а кто я такой и откуда никто не мог сказать ему, он пошарил в карманах

моей куртки — на мне была короткая кожаная куртка еще из Вены — и нашел конверт и письмо доктора Мартена, директора нашего Сиротского дома в Динслакене, которое тот послал в Вену, чтобы узнать, как я живу. Молодой немец был потрясен, увидев подпись своего отца. Хейнц, так звали младшего лейтенанта, учился перед войной во Франции и успел получить от отца несколько писем, в которых он писал о том, что случилось с нашим учреждением, когда нацисты пришли к власти, и в одном из писем, как оказалось, упомянул Лео дер-Юнге, то есть меня.

Хейнца назначили начальником тыловой транспортной базы, и Лео оказался с ним вместе в Минске, а потом в Ковно. Своим товарищам и начальству Хейнц представил его как фольксдойча, чьи родители, немецкие фермеры, погибли во время бомбежки. Все жалели бедного мальчика, попавшего в руки русских варваров. А жена командира Эйнзатцгрупп в Ковно даже хотела его усыновить. Но оберштурмбанфюрер считал опасным усыновлять детей, не выяснив их происхождения. Матильде пришлось смириться. Она довольствовалась тем, что без конца обнимала Лео ("нашего Ленча"), гладила его светлые волосы. Мальчика звали теперь не Лео дер-Юнге и не Арье Моргенштерн, а Ленч, по имени Герберта Ленча из Верхней Силезии, чье удостоверение добыл ему Хейнц. Но мы забежали вперед. События развивались стремительно, а ноги Ленча еще болели, в них застряли осколки от снаряда, разбившего советский грузовик.

— В десяти километрах от Минска есть место под названием Малый Тростянец, и СД устроило там лагерь. В нем находились депортированные из Вены евреи, в том числе и мой дядя Артур. Их везли из Вены по 600 человек, до половины пути — в пассажирских вагонах, начиная с Восточной Польши — в товарных. Всего в минском гетто

собрали около семи тысяч евреев из Вены, Брно и Бремена, а в Малом Тростянце — еще тысячу. Все они были убиты в душегубках на обочинах шоссе, ведущего в Могилев. Шоферы, обслуживавшие подразделение Хейнца, рассказывали о Харькове и о Кисловодске, и о Дробицкой долине, полной рвов с евреями, и об овраге, который называется Бабий Яр. Шофер Гюнтер рассказал о городе Минеральные Воды, где русские оставили много противотанковых рвов, и там собрали евреев Кисловодска, которым не пришлось рыть себе могилы. Однажды, наполняя бак своего грузовика бензином, Гюнтер увидел трех арестованных евреев — врача лет пятидесяти, его жену и дочь. Они не захотели идти на сборный пункт и пытались покончить с собой. Поскольку морфия не хватило, они перерезали себе вены. Тогда штурмбанфюрер¹¹⁷ приказал перевязать их окровавленные руки и вежливо объяснил доктору, что евреям запрещено кончать с собой, потому что это значит взять закон в свои руки. После этого их напоили горячим кофе, а потом отвели к упомянутым рвам и расстреляли. Гюнтер, солдат-резервист с рваным ухом, но довольно симпатичный на вид, закончив рассказ о семье врача, достал темную бутылку из рюкзака и сказал:

— Эту конскую мочу русские зовут квасом!

Был конец октября 1941 года. В доме ковенского бургомистра пили чай. Служанка снова поставила самовар и открыла окно. Молодой немецкий офицер послал ей воздушный поцелуй. Молодая литовка покраснела до ушей. Вместе с немецкими мастерами Лео с Хейнцем вошли в гетто. Шла селекция. — Боюсь, мой мальчик, — сказал Хейнец, — что уже все кончено. На площади стояла толпа евреев, несколько десятков тысяч. Их выгнали из дому с утра и седьмой час держали на площади без еды и питья. Они стояли в таком порядке: в первом ряду — члены

Юденрата с семьями. За ними — полицейские гетто, также с семьями. Дальше — рабочие во главе с бригадирами. Младенцы кричали у матерей на руках. Площадь окружали солдаты и войска СС. Двойная цепь немцев и литовских войск особого назначения окружала гетто снаружи до самого берега реки.

За бригадой рабочих аэродрома Хейнц нашел людей из своей транспортной базы. Их было десять человек. Но вдвое больше толпилось рядом. Евреи, чьи мастера не пришли, умоляли Хейнца присоединить их к его "штелле"¹¹⁸. Один твердил, что он механик, другой — что он слесарь, третий уверял, что он — токарь, четвертый — что он шофер. Другие стояли молча, выпятив грудь и напрягая мышцы.

Ленч оказался в закоулке, в стороне от площади, и увидел там во дворе маленького роста женщину и высокого подростка с детским лицом, в не по росту длинном пальто.

— Тетя, ничего не выйдет, — бормотал мальчик. Женщина поправила у него на шее галстук, подала серую шляпу и молча подтолкнула к площади.

— Налево, — приказал полицейский, помахивая перед носом мальчика палкой.

— Это мой муж, — подскочила женщина и стала между ними, толкая мальчика вперед.

— Он тебе такой же муж, как я — любовник! — крикнул полицейский, но женщина не унималась:

— Всем, что свято, клянусь, что это мой муж!

— Нет сегодня ничего святого. Не ври, женщина, — и полицейский толкнул дрожащего мальчика налево.

— Он не пойдет налево! — женщина схватила полицейского за рукав, — господин полицейский, будьте человеком, — заплакала она.

Полицейский грубо оттолкнул ее.

— Ты, гад! — закричала женщина. — Чтоб ты сгорел!

— Оставь его, — сказал Хейнц полицейскому, — это мой работник.

Отобранные уже выходили за ворота. Тысячи оставшихся ждали, когда приедут крытые брезентом грузовики.

Знали ли они, что их ждет?

Сортировка продолжалась. Женщины, старики, дети и мужчины, которых не взяли на работу, стояли на площади десять часов. В тот день акция не кончилась. Назавтра снова вывели на площадь несколько тысяч. Мужчины, вернувшись с работы, ходили среди домов, разыскивая жен, матерей и детей. Когда в 4 часа дня вышла из ворот колонна и людей погрузили в машины, прошел слух, что их везут в Девятый форт¹¹⁹. Молодые парни выскакивали из машин и бежали — кто к реке, а кто назад в гетто. Стреляли и в тех, и в других. Еще долго лаяли пулеметы, на улицах валялись тела тех, кто не сдался и пытался спастись бегством.

Хейнц, оставшийся в гетто, чтобы обеспечить выход десятка своих рабочих и еще десятка, которых удалось присоединить к отобранной команде, рассказал о том, что видел. Но ужаснее всего, оказывается, было то, что происходило в Девятом Форте. Группами по 300 человек гнали обреченных ко рвам. Детей бросали в ров живыми.

— Если бы существовал Бог, он бы этого не допустил, — закончил Хейнц.

Ленч слушал с застывшим взглядом. Перед ним немец, сын доктора Мартена из Динслакена, в мундире вермахта. В одной руке он держит кружку пива, другой бьет себя по лбу:

— Сегодня я убедился, что Бога нет!

Ленч подумал: все-таки бывают чудеса. У него было большое желание встать с солдатской койки и обнять этого немца.

— Ты, кажется, говорил однажды, что вас

было трое. Кто был этот третий? — спросил Шауль.

— Антон Шмидт — так звали фельдфебеля из Вены. Это он рассказал мне об убийстве моей кузины в Понарах.

— В тот вечер, — продолжал свой рассказ Ленч, — мне предложили поехать в Берлин.

— В Берлин? — удивился Элияху из Лиды.

Костровой по имени Фелек, молчаливый предусмотрительный человек, поглядел на вспыхивающие и опадающие языки пламени и присвистнул. А потом сказал:

— Если ты побывал в Берлине, парень, советую тебе прикусить язык. И у леса есть уши. Никто не поверит, что ты так просто съездил в Берлин и вернулся.

— Я не был в Берлине.

Поразительная идея послать Лео ("Ленча") в школу гитлерюгенд зародилась в воспаленном мозгу командира Эйнзатцгрупп в Ковно. Вы не поверите, но звали его Гаман¹²⁰. Он с успехом справился со своим заданием — ликвидировать почти все гетто Литвы.

— Вы не представляете себе, какая это была сложная операция! Сколько труда и стратегической мысли вложил я в ее исполнение! — любил повторять Гаман.

Однажды этот стратег задумался, глядя на золотившуюся от пламени очага голову "нашего Ленча".

— Надо спешить, — сказал он в пророческом волнении, — этому юноше суждены большие дела!

Гаман тут же отставил пиво, налил хранящийся для торжественных случаев коньяк и, подняв рюмку, дрожавшую в его похожих на сосиски пальцах, сказал, что он ясно чувствует: сегодняшний день — один из великих дней в его жизни. И не только потому, что на сегодняшнем дне сияет свет дня вчерашнего. Ведь он уверен, что его

имя отныне связано с одним из великих деяний Рейха — "уничтожением еврейского врага в Оссланде". Но он чувствует и нечто другое. Ведь вот он, бездетный Франц Гаман, собственноручно посвящает своего духовного наследника Ленча в руководители гитлеровской молодежи!

От того, что рекомендует оберштурмбанфюрер, нельзя отказаться. Не прошло и трех дней, как Ленч уже ехал по армейской железной дороге в Берлин с корзиной печенья, изготовленного фрау Гаман. Во вторую ночь пути, прежде чем выскользнуть из поезда, замедлившего ход на необозначенной на картах военной станции, Лео сообразил набить карман печеньем фрау Гаман.

— Начались зимние ночи, самые холодные из всех, которые я пережил. В эти времена решились на берегах Волги и Невы судьбы войны. Но прежде, чем холод пожрал на заснеженных российских просторах гитлеровские войска, он чуть не доконал меня. Обходя днем деревни, я шел полями, пересекал по ночам покрытые льдом реки, пробираясь к южной границе Польши и надеясь попасть в Чехословакию. Шел без карты, одиноко блуждая по запутанным дорогам чужой страны. Пытался найти товарищей по несчастью, евреев, и попадался в западню "шмальцовников"¹²¹, которые выдавали уцелевших евреев усерднее самих немцев, потом еле удирали от них.

Наконец, я оказался в местечке Янишув. Поверьте, я не собирался много рассказывать о себе. Лишь кое-что, чтобы наш дорогой доктор Брант мог включить в тетрадь, несколько листков о том, что выпало на мою долю.

В местечке Янишув уже не было евреев — я заметил это еще днем, прячась в кустах. К вечеру добрался до рабочего лагеря. В этот лагерь, по словам мальчика-пастуха, немцы собрали мужчин из Янишува, и они там работали на земляных и других тяжелых работах. А женщин и детей

отправляли в Красник на смерть. Большой фонарь освещал вход в лагерь, но на вышке не видно было солдата, никто меня не окликнул. Трудно было поверить, что я — в концлагере, так тихо там было и так много деревьев. Но особенно меня поразило то, что я не встретил ни души — ни полицейских, ни заключенных. Даже внутри лагеря, где я прошел между бараками, обходя из осторожности главную улицу, подал голос лишь невидимый в темноте пес.

Странное совпадение — как раз в этот момент за болотом раздался лай. Тут же зазвучали со всех сторон разные голоса и сидящие у костра улыбнулись.

Ленч поднял брови и продолжал рассказ. Он увидел проникающий из окна свет и вошел в барак. Тишина пугала его, и, открыв левой рукой дверь, он правой взвел курок пистолета "баретта", который подарил ему на прощанье Хейнц.

Человек держал свечу, прикрыв шапкой пламя. Барак был полон. Люди настороженно молчали. Часть их стояла в проходе, уставившись на Ленча. Их глаза блестели при свете свечи. Ленч не сразу увидел, что у каждого в руке был узелок с вещами. Во взглядах людей не было угрозы, но Ленч отступил к двери. Ему стало страшно при виде нескольких десятков молчавших людей.

— Слава Богу! — заговорил человек со свечой.
— Вернулись!

— Я только услышал, как лает пес, и сразу это понял, — сказал радостно другой.

— Вы ведь пришли за нами, правда? — схватил его за плечо старый еврей.

— Господь тебя благослови, сынок. Я знал, что еврейская душа — не камень. Ты ведь от Рувки?

— Я не знаю, кто такой Рувка, не знаю, кого вы ждете.

Если бы на них обрушился потолок, их отчаянье не было бы горше. Головы поникли,

опали плечи. Иные бросили свои узелки с тупым стуком на пол. Казалось, они все еще не верили.

— Так кто же ты тогда? — Теперь они смотрели на него враждебно.

— Я еврей.

— Откуда?

— Издалека.

Ему растолковали, что произошло. Незадолго до появления Ленча в лагере здесь была группа партизан. Им удалось проникнуть на извозчичьей телеге в лагерь и уничтожить украинца на вышке. Убили жандарма, оставив его собаку. Партизаны были евреи из ближайших местечек. Рувка из Рахова, руководивший группой, вошел в контору коменданта лагеря. Тот не успел даже вынуть маузер.

Комендант Питер Игнов жил много лет рядом с евреями, работал учителем в сельской школе и выдавал себя за поляка, хотя был немцем. Он был приятен в обращении и как будто держался умеренных взглядов. С приходом немцев он сбросил маску и показал себя неумолимым врагом евреев.

Игнов сидел в большой комнате и возился с приемником, пытаясь, видно, поймать Люблин или Берлин. Обернувшись на звук открывшейся двери, он опоздал всего на минуту. Рувка, сын кузнеца, в папахе с пятиконечной звездой, алевшей как третий глаз, сунул свой обрез прямо в зубы нациста и, сказав по-польски: "Получай, паскуда, — за наших матерей и отцов!", нажал на курок лишь раз, чтоб не тратить лишнего патрона. Вообще-то он собирался объявить обершарфюнеру¹²² приговор по-немецки, как это делали в кино, но вспомнил, как после того, что они с отцом подковали для пана Игнова коня, Игнов топтал его этими самыми копытами, и как во время первой акции тащил комендант отца волоком через все местечко. И не удержался Рувка —

казнил убийцу сразу.

Когда заключенные в бараках узнали, что произошло, изумление их и радость вспыхнули, как искры над трубой литейного завода. Велика была гордость жителей Янишува командиром мстителей из соседнего местечка Рахов. Некоторые, правда, заметили, что ружья парней из леса непохожи на настоящие, но, как оказалось, можно убить врага и из такого ружья, можно убить врага народа Израилева.

Другие заинтересовались трофеями, которые партизаны вынесли с лагерного склада и из дома Игнова. Это были вещи, награбленные у евреев Госьцерадува, Янишува и окрестностей. Молодой узник Шаулик Поповер узнал серебряные подсвечники кавказской работы из дома деда. Он знал, как важна каждая ценная вещь в лесу для приобретения оружия и патронов, и промолчал. А потом сказал:

— Я пойду с вами.

Рувка ответил:

— Шаулик, ты слишком молод. — Долговязый шестнадцатилетний Шаулик Поповер возразил:

— Если я достаточно взрослый для каторжного труда, почему же я молодой, чтобы быть партизаном?

Сын кузнеца пожал плечами. Но тут заговорили наперебой взрослые:

— Возьми нас всех, Рувка, всех!

Лейб Музыкант, один из партизан, переживший селекцию в гетто, вспомнил голоса своих старших братьев, отца и дяди, окруживших немца-прораба и моливших: "Возьмите нас, мастер, возьмите!" — и кивнул головой — дескать, возьмем! Но Рувка-командир сказал:

— Брось мне строить здесь праведника, холера. За задание отвечаю я. Понимаете, друзья, я от всего сердца хотел бы вас взять. Но над нами в лесу есть русский командир, а в отряде —

русские и украинцы. Капитан разрешил нам разделаться с Игновым, но категорически запретил приводить в лес безоружных. "На твою ответственность", — сказал капитан. Лес — это не убежище и не бункер. Безоружному там нечего делать. Нет места для безоружного у партизан.

— А здесь для нас есть место? Здесь мы можем жить? — спросил человек с забинтованной рукой. Тут рабби Гершель, в прошлом знаменитый филантроп, подошел к партизану и ткнул его грязным пальцем в грудь:

— Это ты убил Игнова?

— А вы хотели бы, чтобы я пощадил убийцу своих родителей?

— Ты нас должен был пощадить. Мы-то еще живые. И если вы пришли не за тем, чтобы взять нас в лес, зачем ты свалил на нас этот труп? Он и мертвый расправится с нами!

Толпа отчаявшихся людей возмущенно загудела, Рувка отступил и прислонился к стене. Потом отвернулся от обреченных евреев и обратился к евреям свободным, велел взять трофеи и немедленно уходить. И лишь за порогом обернулся:

— Мы запрем бараки на засов, а ваш барак оставим открытым. На рассвете бегите в Госьце-радув и скажите немцам, что случилось. Что вас заперли и что вы ничего не видели. А тамошнему коменданту Лазарчику скажите, что скоро придет его час. Так, мол, сказал партизанский командир, и так будет!

Они взяли с собой мясника, двух земляков Рувки Рахова, а также доктора Гросса.

— Они ушли, и тут появился ты. Ты похож на одного из партизан, а мы надеялись, что они вернутся — мы слышали, как они между собой спорили. Мы даже приготовили золотые монеты, потому что за "наполеончик", говорят, можно купить ружье. А теперь мы пропали. Часа через два придут СД и гестапо.

С Ленчем говорил костлявый еврей с бритой головой и большими ушами. За окном стояла черная ночь. Один из жителей барака сидел на полу ссутулясь, зажав руки между колен и раскачиваясь, словно читал "Эйха"¹²³. Этот человек пострадал дважды: первый раз оттого, что пошел, а второй — оттого, что остался. Первый раз — на базарной площади, где прорабы отбирали годных к работе людей. Все понимали, что это — селекция и что участь оставшихся решена. Поэтому они наседали на немцев и умоляли: "Пожалуйста, мастер, возьмите меня...". А на него напало безразличие. Он никого ни о чем не просил. Мозг его словно расщепился на две части. Одна — здесь, на площади, среди тысячи мужчин, а другая дома, с Рохеле, его больной женой, с их единственной дочерью, со всей семьей. Как их оставить? Надо ли ему оставаться в живых, если их не будет? Он был внутренне истерзан, лишен воли, его сознание раздвоилось и он смутно, как сквозь пелену воспринимал происходящее вокруг. И уже решил было остаться, когда его брат Абрамка, отобранный прорабом, потянул его за собой. Немец взглянул на него и приказал отойти от обреченных. Норму выполнили, около сотни мужчин, мероприятие закончилось. Записали его имя и разрешили, как и прочим, сбегать домой и явиться на сборный пункт со сменой белья, одеялом и мылом. Рохеле не плакала и торопила его уйти. Она бы, конечно, не возражала, если бы он остался с ними. Ни она, ни его мать. Но он не остался, наскоро поцеловал их, вынул из кармана тощую пачку денег и отдал жене. А дочь не успел поцеловать. На следующий день, утром, из окон лагерного барака видели, как по шоссе, ведущему в Красник, шли с узлами их жены и дети. Странно, но вооруженного конвоя при них не было. Ни солдат, ни стражников. Шли беспорядочной толпой. Могли разбежаться. Но куда?

— Может быть, это признак того, что их ведут в лагерь, а не на смерть? — старались успокоить себя мужья, отцы и братья в бараке.

Человек сидел, ссутулясь, зажав руки в коленях, и безмолвно рыдал. Почему он не пошел вслед за ними? Почему не пошли другие?

— Кто знает, кому жить, а кому умереть? — громко спросил Ленча бритый худой еврей. Из его потухших глаз струилась скорбь — безмерная и черная, как ночь за зарешеченным окном.

— Но ведь здесь вам никак не уйти от смерти. Они придут и расправятся с вами.

— А ты идешь дальше?

— Да.

Еврей снова на него взглянул и, казалось, только что разглядел. Он был вдвое старше Ленча.

— У тебя нет в Краснике близких. Когда я ушел, я их, наверное, огорчил. А теперь своим побегом я навлек бы на них беду, это уже точно. А как ты думаешь?

Ленч пожал плечами и не ответил.

Кто-то спросил, знает ли Ленч дорогу. Он ответил, что не знает, что он в этой стране чужой. Но он уже прошел половину занятой немцами Европы, справится и со второй.

Ленч ушел, с ним — Ицхак и Шаулик Поповер. Обоим было по шестнадцать лет. Потом решились еще несколько человек, а в самый последний момент, перед тем, как появился Лазарчик со своими молодчиками из гестапо, бежали еще десятка два. Большая часть заключенных осталась в длинном бараке, дощатые стены которого были покрыты черным толем. Мало кому удалось задремать. Сидели с узелками на коленях, каждый на своем месте, каждый со своим горем. Сначала еще говорили, вспоминали имена ушедших и не знали, как о них сказать: "Храни их Господь", или "Благословенна их память".

Заклученых Янишува перевели в другой лагерь; там их сперва пытали, потом расстреляли в долине, называемой Новый Рахов. А Лазарчик, который тоже был фольксдойчем, похоронив своего друга Питера Игнова, наблюдал у рвов за казнью.

Малó местечко Янишув, не найдешь его на обычной карте, но велики были муки его жителей. Покинувшие лагерь скрылись в рощах, потом бежали в болота, из болот в лес. Когда голод гнал их в деревни, то крестьяне брали у них золотые монеты, а взамен выдавали их немцам. Выловленных группами и поодиночке беглецов привели в Госьцерадув и там убили. А Ленч обходил деревни и блуждал по лесу. Как-то утром, под проливным дождем, он встретил Лейба Музыканта, который был с партизанами, атаковавшими Янишув. Ленч с трудом узнал его — такой он был грязный и зловонный, жил он в пещере, как дикий зверь. Лейб рассказал, что случилось с еврейскими партизанами. Командир отряда решил завоевать симпатии окрестного населения, среди которого было много антисемитов, и прогнал евреев из отряда, предварительно обманным путем отобрав оружие. Прогнал и Рувку, бесстрашного командира группы. Оставил ему, правда, ружье, а забрал пистолет. Случилось это вскоре после вылазки в Янишув.

На территории Залесья было много евреев — и бойцов, и скрывающихся семей. Польские партизаны вылавливали их и убивали из засады в лесном треугольнике Госьцерадув — Ксежомеж — Залесье. Командовал этими действиями Гжегож Корчиньский, будущий польский генерал армии Людова, которая подчинялась Советскому Союзу.

— Лейб посоветовал мне свернуть на восток, подальше от поляков. Из всей группы уцелел он один, и цеплялся за свою пещеру из последних сил. К тому моменту я уже еле держался на

ногах — ступни покрылись гнойными ранами, каждый шаг причинял боль. Опираясь на палку, я двигался к Бугу. Как-то ночью я постучал в дверь крестьянского дома. Когда она открылась и в мое замерзшее лицо пахнуло теплом, я, потеряв сознание, упал на пороге. Крестьянин приволок меня в сарай и поспешил вернуться в хату — у него были гости, среди них — полицейский.

Придя в себя, я обнаружил, что прикрыт соломой. В углу сарая повизгивал пес. Позже я узнал, что утром того же дня пса подстрелили немцы. Крестьянин поносил на чем свет стоит проклятых швабов, может быть, поэтому мне повезло. Все это я узнал после полуночи, когда гости ушли, а пока я гладил раненого пса. Но я был несчастнее собаки! Ей можно помочь, даже вызвать врача, а я должен перевязывать свои раны сам и не смею стонать от боли. Остаток пути до окрестностей Лиды я проделал — вы не поверите — в военном грузовике интендантских войск вермахта, так как снова стал Гербертом Ленчем, силезским парнем, захваченным большевиками в плен. Когда мы остановились перед взорванным мостом, я понял, что нахожусь в районе действия партизан, и с наступлением темноты сбежал. На беду, я попал в болото.

Шауль заметил:

— Что-то часто ты, друг, теряешь сознание. Хорошо еще, что тебя угораздило свалиться там, где искала уединения влюбленная парочка партизан.

Слова Шауля всех развеселили. Послышались шутки, смех. Ленч обернулся к Дворе:

— Я уже пришел в себя, но не открывал глаз. Я услышал шаги и боялся, что надо мной стоит немец, крестьянин или овчарка. Не подумал, что это может быть еврейская девушка-партизанка. И тут ты сказала: "С виду вылитый шейгец, а стонет совершенно по-еврейски".

Он кончил рассказ. Потом подумал о том, что

в своей семье он был Арье Моргенштерном, воспитанники Сиротского дома запомнят Лео дер Юнге, Матильда Гаман оплачет пропавшего Ленча, а молочнице с берегов Двины нравилось звать его Левушкой.

С фонарем в руке к костру подошел Ури. Луч упал на угли, и Ури сказал:

— Господа хорошие! Люди уже утреннюю молитву читают. Идите-ка вы спать. Завтра взрываем мост.

МАРШ СМЕРТИ

*И внезапно, в разгар марша смерти, война
окончилась.*

”И ПОШЛИ СЫНЫ ИЗРАИЛЕВЫ СРЕДИ МОРЯ ПО СУШЕ”¹²⁴

Рут, я не буду рассказывать тебе о морском ветре, бьющем по дошатым стенам дома, закрытым ставням и дверям, о соленом запахе водорослей и мхов, смешанном с запахом копоты и пота. Представь себе — час ночи. Дверь позади меня чуть прикрыта, а за ней — длинная комната, мрачная, как склад на вокзале. Душно. Доносится дыхание двухсот семидесяти бездомных евреев, которых не пускают в обетованную землю почти через два года после того, как в мире кончилась война.

Я не хочу, Рут, подробно рассказывать тебе о том, какой гнев вызывает у меня вид прожектора, лучи которого пляшут под раскаты грома на береговых скалах. А также — вид крыши, которая протекла над свернувшимися на соломен-

ных матрацах людьми, торопливо натягивающими на голову одеяла, в отчаянной попытке спастись от холодного дождя, льющего сверху. На трехэтажных нарах, сооруженных солдатами Бригады¹²⁵, вплотную лежат люди, чьих имен мы не знаем — уцелевшие в Белжицах, Аушвице, Берген-Бельзене и других лагерях смерти, бойцы гетто из югославских и российских лесов. Возле двери — Минна, Тося и Фаня, пережившие марш смерти, который начался в Штутгофе, у Балтийского моря. У них уже немного отросли волосы, и можно понять, каков их истинный возраст.

Несчастнее всех, пожалуй, маленькая Крыся. Крохотным ребенком ее отдали белорусам в глухую деревню среди болот Полесья. Записку, которую бросили ее родители из поезда смерти, нашел священник, пересекавший на рассвете железную дорогу по пути в церковь. Он передал написанную на иврите записку монаху-еврею, спасшемуся от смерти крещением. От того она попала к работнику организации "Бриха"¹²⁶ в Люблине. И когда через Чехию и Румынию записка добралась до Бухареста, там оказались два солдата из Еврейской бригады. Солдаты возвращались в Италию после встречи с еврейскими партизанами, приехавшими из-за Карпат. Один из солдат родился в том же местечке, что и Крыся, дома их родителей стояли рядом на базарной площади. По следу этой записки-завещания нашли девочку, которой уже было пять лет. Она не отзывалась на имя Миреле, которое дали ей отец и мать, знала лишь имя Крыся, данное ей белорусскими крестьянами, ее приемными родителями. Они были добрые люди, растили ее как дочь и крестили в православной церкви. Вначале прятали у родных на восточном берегу Буга. Девочка не хотела расставаться с приемными родителями. У них не было своих детей, и они горько плакали, расставаясь с перепуганной сирот-

кой. С того дня Крыся не снимала с шеи крестика и не разговаривала. Днем молчала, а по ночам плакала, и плач ее раздавался по всему дому. "Хочу к маме! Хочу к папе!" Девочка отказывалась верить, что ее живые родители — не настоящие, а настоящих нет в живых. Ее ждал родной дядя в киббуце в Изреельской долине, встреча с ним могла быть спасительной для девочки, но она все откладывалась.

Тому, кто прочтет когда-нибудь историю этих дней, будет трудно поверить, что отважные английские капитаны, которые сопровождали суда по Ледовитому океану в Мурманск, стояли потом на капитанских мостиках эсминцев и канонерок, гонявшихся за еврейскими беженцами.

Посланцы правительства Его Величества запугивали, перехватывали, топили нежеланных репатриантов. Так потопили судно, которого ждали в Палестине, перед праздником Песах. К счастью, на нем не было пассажиров, а экипаж — в основном добровольцы из Америки — спасся. И воды не расступились перед евреями, и чуда не произошло. И дождь покрыл землю, а на небе не было звезд. Сквозь потоки дождя доносились рыдания Крыси.

Наш друг Элияху Клячкин, который, как ты знаешь, был одним из освободителей Флоренции, рассказывал:

Город еще был разделен: на одном берегу Арно стояли немцы, на другом — наши. В то утро Элияху встретил мальчика лет девяти. Он был сыном раввина Флоренции, известного своей помощью обитателям Феррамонте ди Тарсия (был такой лагерь для еврейских беженцев на юге Италии еще до немцев!). В 1943 году раввина отправили в Польшу, в лагерь уничтожения. Через несколько месяцев схватили и его вдову, сыновей — старшего (забыл, как звали!) лет семи и маленького, пятилетнего — спрятали монахи. Во время осады в городе не было воды. В освобож-

денные районы воду привозили в цистернах на военных грузовиках, в том числе на грузовиках Еврейской бригады. Сына раввина послали за водой. Ему было лет девять, но он не мог понять, какие солдаты распределяют воду — итальянцы, немцы или американцы. Трещали пулеметы, мальчик стоял, съежившись, в очереди. И тут его увидел Элияху. Элияху не знал, что это еврейский мальчик. Мальчик не знал, что за солдат перед ним, но увидел на его плече значок с Маген-Давидом.

— Как под гипнозом, — рассказывал Элияху, — вышел мальчик из очереди с пустым ведром в руке, уставившись на Маген-Давид. Он остановился в двух шагах от меня и сказал: "Шма, Исраэль".

Элияху, киббуцник из Бет-Альфы, был глубоко тронут. В тот же день он забрал двух сирот из флорентийского монастыря, отправил на своем джипе в Рим и передал уцелевшим членам семьи раввина. Элияху собрал вокруг себя детей, организовал группу "Хахшара" для желающих ехать в Палестину и был для них и отцом, и инструктором. Какое-то время я ему помогал.

Был в "Хахшаре" симпатичный темнолицый мальчик по имени Джузеппе. Я как-то спросил его:

— Джузеппе, почему ты всегда молчишь?

Он сидел всегда на краю верхних нар, свесив ноги и вобрав голову в худые плечи. Не глядя на меня он пробормотал.

— Меня дома звали Иосефом.

— Извини, — сказал я, — откуда ты, Иосеф?

— Из Бенгази, — был ответ.

Я спросил, откуда он знает иврит, и он сухо повторил:

— Из Бенгази.

— Вот не думал, что на Киренаике тоже учили иврит.

— Мы и Бялика учили, к твоему сведению! —

уже мягче добавил он и, можно сказать, разговори-
лся: — А знаешь, на каком я был празднике
перед тем, как мы попали в лагерь!? (Господи, а
я даже не знал, что и в Ливии были концлагеря!)
— На празднике в честь Тель-Хая!¹²⁷

11 числа месяца адар Джузеппе-Иосеф читал в
Бенгази поминальную молитву по Трумпельдору
и его товарищам. Джузеппе попал в "Хахшару"
из больницы в Неаполе. Я спросил, не тифом ли
болел он в лагере, и с изумлением узнал, где был
лагерь:

— Ты знаешь, где находится Чад?

Я не знал. Джузеппе родился в Бенгази;
оттуда его вместе с отцом везли, как скот, в
переполненных грузовиках за три тысячи кило-
метров, вглубь пустыни. В тот день, когда
евреям объявили приказ о высылке, отец был в
Триполи. Итальянец, у которого он работал, не
знал, что он еврей. Отец сказал, что позвонили из
дому и сообщили о выселении евреев. Итальянец
спросил:

— А ты знаешь, куда везут евреев? Их везут в
плохое место.

Отец ответил:

— Куда семья и все евреи, туда и я.

Он приехал в Бенгази в тот момент, когда
семью выводили из дому. При переезде через
пустыню люди теряли сознание и умирали. В
грузовике были мертвые. Во дворе старинной
крепости, на вершине высокой скалы, их выгру-
зили. Сестра Джузеппе в дороге заболела, лагерный
врач сделал ей какой-то укол, и она в ту же ночь
умерла. Комендант лагеря увидел, как отец с
сыном копают могилу и велел им идти в бригаду
могильщиков.

— Десятки людей умерли от тяжелого труда и
от тифа, и работы у нас было много, —
рассказывал Джузеппе. Когда объявили по радио,
что Роммель подошел к Эль-Аламейну¹²⁸, в лагерь

ворвался комендант-итальянец со взводом солдат и потребовал к себе раввина. В одном из барачков была комната, которая служила заключенным синагогой. Оттуда вывели раввина и потащили за бороду на площадь. Там же собрали евреев, и комендант объявил:

— Вас привезли из Киренаики не для того, чтобы вы поселились здесь. Теперь, когда Эль-Аламейн взят, наступил ваш час. Через два дня, в воскресенье, отправитесь в Германию, а оттуда — на тот свет.

Так и сказал итальянец: отправитесь на тот свет.

— Три дня и три ночи мы сидели и молились. В первый день недели встали в последний раз на утреннюю молитву. Смотрим — коменданта нет и стража тоже исчезла. В полдень того же дня появился в густом облаке пыли первый английский патруль. Солдаты увидели заключенных. Но, прочтя объявление, предупреждающее о возможности заразиться тифом, проехали мимо. Лишь один солдат помахал рукой — ждите, мол, армию. У Джузеппе не хватило терпения ждать и он пошел навстречу армии-освободительнице.

— Шел я долго и наконец встретил их. Наверное, я выглядел страшно. Судя по лицам солдат в джипах, они не поняли, человек перед ними или явился призрак из облака пыли. Увидев слово "Палестина" у солдата на погоне, мальчик спросил на иврите, не еврей ли он. Солдат удивился и ответил:

— Да, я еврей из Эрец-Исраэль. А ты разве еврей?

Джузеппе кивнул. Солдат снова удивился:

— Разве в Ливии есть еврей?

— Да, — ответил я солдату из Эрец-Исраэль, — и они говорят на иврите.

Воспитание в духе Палмаха¹²⁹ обязывает владеть собой. Сдержав волнение, я сказал с улыбкой:

— Тебе повезло, парень, ты пересечешь вторично Средиземное море.

Мальчик из Бенгази посмотрел на меня рассеянно (я удивился бирюзовому отблеску его зрачков) и ответил:

— Жизнь научила меня не радоваться заранее. Когда я однажды уехал из лагеря на два дня и вернулся на джипе, набитом консервами, оказалось, что за это время мой отец умер, — сказал мальчик и мне хотелось извиниться перед ним, но я промолчал. В тот момент было неясно, кто из нас взрослый — он или я. Ты меня понимаешь, Рут?

Видишь, перед тобой три юных существа — Крыся, мальчик из Флоренции и Джузеппе из Бенгази. Три судьбы, и в каждой из них — как в капле воды отражается еврейская история, еврейское горе.

А Лео! (О бегстве его из Германии после Хрустальной ночи я рассказывал тебе в прошлом письме.) Ему шел только десятый год, когда он самостоятельно добрался до Копенгагена! В пятнадцать лет он вместе с датскими подпольщиками уже переправлял детей в Швецию (об этом замечательном деле я тебе потом расскажу подробно). Тогда его схватило гестапо. Истерзанный и одинокий, попал Лео в Аушвиц. В Сиротском доме, как он рассказывал, было трое мальчиков по имени Лео, и его звали Лео дер-Гроссе, — "Лео большой". Благодаря высокому росту он уцелел после первой селекции. В лагере уничтожения Лео нашел друзей. Один из них, бывший молодежный инструктор из Терезиенштадта, старше Лео на несколько лет, взял его под свою защиту. Он учил Лео ивриту. Другим его другом стал рабби Кассуто (тебе имя Кассуто что-то напоминает? Конечно! Раввин был сыном профессора Кассуто из Иерусалима, с которым ты познакомилась в доме Гатеньо. А потом ты слушала его

лекции о Торе в университете. У меня с именем Кассуто связаны свои воспоминания).

Знаешь, когда в море незнакомых людей всплывает знакомое имя, появляется чувство, будто перед тобой нечто особое. Кассуто... Немногие в Аушвице знали, что он — раввин. Для немцев он был глазным врачом из Италии, и это спасло ему жизнь. Лео рассказывал, что доктор Кассуто лежал в больничном бараке с тяжелой дизентерией; этот барак заключенные называли "дорогой в газ". Сам главный палач Аушвица доктор Менгеле забрал оттуда Кассуто, так как его заместителю срочно нужен был врач, хотя бы и еврей. Кассуто удалось продержаться до самого "марша смерти", то есть до последней военной зимы, когда немцы стали замечать следы и ликвидировать лагерь. Сотни и тысячи заключенных гнали тогда из лагеря в лагерь, вглубь Германии.

Как-то утром, еще до эвакуации, капо измывался над инструктором из Терезиенштадта — старшим товарищем Лео. У несчастного слетели с носа очки, и капо растоптал их. Без очков парень был совсем беспомощным и уж конечно не смог бы пройти и километра в предстоящем марше. Кассуто добыл со спецсклада, где хранились вещи кремированных, две пары очков, и одна из них подошла парню.

— Боже мой! — разволновался молодой человек, который даже в Аушвице выглядел интеллигентом, — мне кажется, что на меня кто-то смотрит из этих очков! — Он страдал, сомневаясь, дозволено ли ему взять то, что принадлежало другому, убитому. Кассуто на правах раввина определил:

— Дозволено. Ибо в этом современный смысл выражения "в крови своей живи".

Когда отправились в путь, у многих уже не было сил идти по грязи и снегу, и весь день раздавались выстрелы — это добивали тех, кто обессилел, — Кассуто, сжав руку Лео в своей,

потребовал от него торжественной клятвы. Мальчик спросил:

— Что ты хочешь, чтобы я тебе обещал, достопочтенный рабби? Что можно обещать в нашем положении?

— Единственное, что ты можешь обещать — это что будешь держаться.

И от юноши из Терезиенштадта, которому достал очки, потребовал он того же. Но у того распухли ноги, а перед глазами в чужих очках прыгали голубые и желтые круги. Он пробормотал:

— Держаться — ради чего? Чтобы рассказать потом обо всех ужасах?

— Нет, — сжал ему руки Кассуто, — чтобы выйти отсюда. Чтобы выйти отсюда.

Но юноша из Терезиенштадта не вышел. Смерть ждала его за польской границей. Дороги покрылись льдом, а ноги уже не держали его. Он умер на первой поверке, устроенной на земле Рейха, опираясь на меня. Ты знаешь о мертвецах, стоящих на утренней поверке? Я не знал. Да и откуда было знать? Так слушай.

В декабре 1943 года мороз в Биркенау доходил до двадцати пяти градусов. На заключенных была только ветхая полосатая форма, в ней шли они на работу с восходом солнца и возвращались, когда темнело. Наверное, я напрасно пытаюсь воссоздать в письме то, что слышал, ведь рассказы бывших узников — только слабое эхо пережитого. В то утро, как только Лео вышел в 5 часов из ворот лагеря, хлынул дождь. В это время года дождь быстро превращал одежду заключенных в ледяной панцирь. Дождь шел почти весь день и лишь изредка менял направление — бил то слева, то справа. Странно, но казалось, что он, этот дождь, обжигал. Шестеро из обитателей их барака умерли по дороге на работу, а другие несли их тела на обратном пути. Стемнело, и после поверки им приказали войти в бараки. Обычно им раздавали

еду — кусок хлеба и эрзац-кофе — еще снаружи. Они подумали было, что им разрешат, после такого ужасного дня, поесть в бараке. А после того, как староста приказал раздеться, некоторые решили, что им высушат одежду. Но их тут же выгнали голыми на улицу. Эсэсовцы и капо, в плащах с капюшонами, били голых людей палками. Отовсюду слышались крики. Толпу голых людей погнали к площади:

— Холодно? Пляшите!

И они плясали. Лео лавировал между голыми людьми, спасаясь от дубинки. Люди падали и не могли встать. Это было в пятницу. А в субботу утром оказалось, что восемь товарищей Лео по бараку умерли. Через несколько минут утренняя поверка, и староста барака доложит об умерших.

— Давайте перехитрим их, — предложил Лео, и все сразу поняли, что он имеет в виду. Покрыли головы умерших фуражками, надели на ноги деревянную обувь и вышли на поверку вместе с покойниками. Раздался свисток капо, выровнялись ряды. Они стояли на площади стенкой. Покойники — на своих обычных местах — стояли прямо, внутри рядов, подпираемые с двух сторон товарищами. Пошел милосердный снег и скрыл посиневшие лица, а потухшим взглядом мертвецы не отличались от своих собратьев, стоявших без движения и без слов. Немцы кончили считать и выдали на день хлеб, суп и маргарин. В понедельник умерло еще четверо; в течение недели число умерших в одном бараке дошло до двенадцати. Ни о ком из них вовремя не доложили, и на поверку живые и мертвые являлись вместе. Холод и снег помогали живым. В других бараках узнали об этом и стали делать так же. Лео предложил создать общую кассу, собирать в ней хлеб умерших и раздавать живым поровну. Так и сделали. А один хасид, уцелевший от резни в Тормаше и всегда благословлявший еду, не знал,

что делать, когда получил добавку из пайки покойника. Он обратился к Кассуто (все видели, что Кассуто отложил свой хлеб в канун Судного дня и не прикоснулся к нему, пока не кончился пост).

”Достопочтенный рабби, — спросил хасид из Тормаша, — нет ли здесь, не дай Бог, осквернения памяти мертвых?” Не знаю, каков был ответ раввина из Флоренции. В бараке вдруг раздалось: ”Эль мале рехамим”¹³⁰. Хасид из Тормаша, держа одну руку над лежащим у изголовья хлебом, другой прикрыл глаза. Все молчали, а он сквозь слезы произносил: ”Боже милосердный, да почнут в мире души наших товарищей, которые перешли в вечность и хлебом своим дали нам силы хотя бы еще на час бороться с царством зла...”. Рыдания заглушили слова молитвы. С того дня хлеб мертвых стали называть в Аушвице ”да почнут в мире”.

Дорогая Рут, может быть, ты читаешь это письмо в столовой, в обеденный перерыв, ведь именно в это время у нас раздают почту. Или отложила необычно толстый конверт на потом. Представляю себе, как ты сидишь в новом кресле, на отекающих ногах — желтые тапочки, а может, ты скрестила ноги на восточный манер (удобно ли так сидеть на седьмом месяце?). Весело стрекочет на лужайке брызгалка. Ясный вечер. Может быть, читая мои письма, ты плачешь, дорогая?

Когда я пишу тебе все это, рука моя не дрожит, но из глаз льются слезы. Странно — когда я слушал эти рассказы, я не плакал (и вообще — видела ли ты меня когда-нибудь плачущим?). Может быть, когда человек пишет, он переживает все услышанное более глубоко?

Боюсь, что из этой поездки я вернусь другим человеком и почувствую себя дома чужим. Ты удивленно подымаешь брови: с чего бы?

Ты помнишь вечер, когда все собрались у нас? Ты поджарила фисташки, финджан ходил по кругу. Было очень весело. Пришли Топеры, Янкеле с Мири, Ахувале, Гилад и Шоши. Попросили, чтобы я рассказал, как справляюсь с работой, что за люди там. Какие мы провели операции и есть ли трения между нашими моряками, чиновниками разных учреждений и общественными деятелями. И чем занят в Париже Дувеле. И было, как я сказал, очень весело, и я ничего не рассказывал о людях, с которыми свела меня судьба. Упомянул только о погроме в Кельцах. Перед самым моим отъездом прибыло много беженцев из Польши, свидетелей погрома. Видел я и фотографии. Для меня это был удар — я не мог понять, как могло такое случиться в Польше. После всего, что было! Вы слушали вполуха. Дискуссия о военной подготовке в киббуцах и самая свежая киббуцная новость о разводе Цвики и Габи занимали вас больше, чем мой рассказ о том, что произошло в Кельцах, когда туда вернулись евреи.

Ты потом сказала:

— Стоит рассказать об этом завтра Янушу.

— Янушу? — не понял я, — о чем рассказать?

— Ну, ты что-то говорил о Кельцах. Януш оттуда.

Вот оно что. Он оттуда. А мы не оттуда. Поэтому, может быть, это равнодушие? Да, несомненное равнодушие. Кстати, Рут, скажи нашему другу, известному журналисту Г. — пусть использует свое влияние, чтобы перестали называть в газетах беженцев человеческой пылью, сухими костями, которые, дескать, предстоит оживить. Это — пустые слова, они оскорбительны и вредны. Сколько жизненных сил в этих людях! Только бы добраться им до обетованной земли!

Элияху Клячкин рассказал мне о встрече с другом юности, который уехал в Россию с группой Элькинда¹³¹. Сейчас он — бородатый

еврей по имени Бар-Хаим. А тогда его звали Болек Хаймович. Он воевал в Испании, потом оказался во Франции и одним из первых вступил в Сопротивление. В 1943 году его арестовали вместе с руководством маки¹³². Большинство арестованных были евреями. Ходили слухи, что товарищи по оружию приложили руку к арестам. Болек прошел все круги нацистского ада.

Элияху из киббуца Бет-Альфа спросил своего старого друга:

— Объясни, как все это случилось. В просвещенной Европе, в середине XX века?

Тот ответил:

— Это случилось потому, что мы не верили в то, что это может случиться! Я был на берегу Эбро, видел, что там творилось за спиной бойцов, искренне веривших в братство народов, в солидарность трудящихся, веривших товарищам по борьбе с нацизмом. Через три года после прихода Гитлера к власти — за три года до мировой войны — появились на стенах надписи, а на небе — знаки, говорящие о близкой буре. Но о том, что случится, мы все же не догадывались. Откуда, спросишь ты, такое ослепление? Мы верили, что строим новый мир, и не понимали главного — что живем во власти своих иллюзий.

Болеку понадобилось пять тяжелых лет, чтобы понять несколько горьких истин — об антисемитизме в Сопротивлении, о пасынках Франции и об интеллектуалах, которые не оказывались там, где требовалось настоящее мужество.

Раз речь зашла о мужестве, то вспомним таких парней, как Руди.

Я возвращался из бывшего концлагеря Фермонте ди Тарсия с грузом одеял. Со мной был Лео — тот мальчик, который бежал из Сиротского дома в Динслакене и прошел 12 (да, да, двенадцать!) концлагерей. Мне показалось, что своим дерзким чубом и веснущатым открытым лицом

он схож с нашими палмахниками. Я сказал Лео:
— Ты не успел еще приехать в страну и уже — один из наших.

— Нет, Хези, — ответил он, — между мной и "вашими" всегда будет стоять Руди.

Разумеется, я спросил его, кто такой Руди.

Стоял октябрьский вечер. Лео опустил стекло в кабине и подставил лицо холодному ветру. Я удивленно взглянул на парня, которому еще не было двадцати, и увидел, что его взгляд рассеянно блуждает где-то далеко. Два последующих часа, пока мой студебеккер догонял лучи фар, отражавшиеся в асфальте, я слушал рассказ, который, к сожалению, могу передать лишь вкратце.

В начале февраля 1945 года Лео с остатками заключенных Аушвица оказался в Германии. Их было трое друзей, и они поклялись держаться до конца. Но в живых остался только Лео. Инструктор из Терезиенштадта, который стал ему братом, умер, как мы знаем, прислонившись к товарищам. Конвойный солдат, немец, на радостях, что ступил на родную землю, позволил им похоронить друга. Но как? Их единственным инструментом были ногти, а земля — февральская, застывшая. Они положили тело друга под дерево, прикрыли ветками и засыпали снегом; Лео взял на память его очки. На следующее утро, когда их разбудили крики "шнель, шнель!" и уже прошел слух, что гонят пока что в лагерь Гросс-Розен, не оказалось на месте раввина Кассуто. Ни выстрелов, ни криков ночью не было слышно. Наверное, раввин почувствовал, что его конец близок, и захотел вернуть Создателю душу в тишине и не принимать избавительницу-смерть от руки немца. Выскользнув наружу, Кассуто заполз в канаву или в кусты, и прежде, чем явиться перед высшим судьей, надо думать, пожелал, чтобы в его угасающие глаза поглядели звезды. Такой человек, как Натан Кассуто, должен был непременно спросить Господа

Авраама, Ицхака и Иакова, зачем Он дал нам свободную душу и такое слабое тело. Лишившийся в детстве родителей, Лео опять почувствовал горе сиротства. Ведь Кассуто был для него отцом, а юноша из Терезиенштадта — старшим братом.

Лео шел из Гросс-Розена к Бухенвальду вместе со всеми и больше не пытался спастись от хлыста конвойного. Последние дни перед Бухенвальдом кровь лилась непрерывно. Человек падал, раздавался выстрел, и никто не вел счета убитым. В полузакрытых глазах Лео темнело. Страх сменился равнодушием. Холод смерти полз от ног к животу и сердцу. Постепенно угасал мозг, и лишь где-то в затылке звучало: "держаться, держаться". Но Лео уже чувствовал, что покрывается смертным потом. Молча он шел и шел, и дошел до Бухенвальда. В темноте барака, куда его втолкнули, он успел увидеть хищный взгляд старосты, раскинул руки и упал без чувств на пороге.

Очнулся он на соломенном матраце, не понимая, сколько прошло времени. Кто-то незнакомый, поддерживая одной рукой голову Лео, другой кормил его густым супом. Вкуса Лео не чувствовал, ощущал только, как еда проходит в желудок. Потом его спросили, как его звать. Он ответил: "Лео". Спросили фамилию. Ответил: "Арендт". Кто-то из старожилос осветил его лицо свечой и сказал: "Ты, парень, лежишь на матраце Руди Арендта". — "Здесь был Руди?" — изумился Лео.

У Лео был в Берлине двоюродный брат. Еще до прихода нацистов к власти он был арестован за революционную пропаганду в армии. Лео помнил, что последний раз Руди побывал дома по дороге в горы во время праздника Лаг ба-Омер¹³³. Лео было лет пять, и он завидовал двоюродному брату. Ему тоже хотелось быть спортсменом и ходить в горы в ботинках с гвоздиками и с настоящим рюкзаком. Когда господину Арендту сообщили, что его сын — коммунист и сидит в

тюрьме в Моабите, он сказал: "Он мне больше не сын".

25 января 1933 года, за пять дней до того, как Гинденбург сделал Гитлера владыкой Германии, Руди освободили. С кинореклам смотрели Ингрид Бергман и Гарри Купер. Первая мысль Руди была: еще идет "Прощай, оружие". Купер был на рекламе в кожаном пальто, с револьвером в руке. Этот револьвер подсказал Руди следующую мысль: это то, что мне нужно! Он увидел мать, сестру и одного из кузенов, студента третьего курса юридического факультета, ожидавших его на другой стороне улицы, между топодем и телеграфным столбом. Не увидев среди встречавших своего сокамерника антифашиста Вилли, Руди испугался: арестован?! Это была его третья мысль по выходе из тюрьмы.

Отец и другие члены семьи уехали в Бордо, а мать и сестра ждали в Берлине Руди, чтобы после его освобождения тоже уехать во Францию. "Папа тебя простил и будет рад с тобой встретиться в безопасном месте", — сказала мать, обнимая Руди. Руди ответил, что никуда не уедет. В тот же вечер он встретился с Вилли и пятью другими бывшими сокамерниками, жившими по соседству. Они показали ему антифашистскую листовку, написанную Вилли от имени "группы здравомыслящих немцев".

Руди стал одним из первых узников Третьего Рейха. Начались его хождения по лагерям: Бранденбург—Дахау—Заксенхаузен—Бухенвальд. Имя Руди гремело по всем концлагерям Германии, а на воле оно исчезло.

В Бухенвальде евреи были выделены в особую секцию, и Руди получил назначение — стал капо. Вначале там были евреи из Берлина и Австрии, позже появились и из Польши. Польских евреев немцы решили довести до смерти голодом. Руди сорвал этот план — рассказывали Лео старожилы

22-го блока. Со специального склада для лагерного начальства он добывал продукты, а из санчасти — лекарства. Сначала действовал в одиночку, потом ему стали помогать несколько политзаключенных. Руди распределял продукты среди самых тяжелобольных и ослабленных. Многие его товарищи настаивали на том, чтобы он отдавал предпочтение членам партии, "укрепляя ряды будущих активистов", но Руди следовал голосу совести. Помощь получал тот, кто в ней больше нуждался.

— Расскажи ему про квартет Руди, — сказал Герц Фишель из Гамбурга, все передние зубы которого были выбиты на допросе. И Лео услышал странный рассказ. Его двоюродный брат Руди, коммунист, поддерживал дух польских евреев, языка которых не знал и которых понимал с трудом, теми же словами, что и рабби Кассуто в Аушвице. Он призывал людей не сдаваться, не покоряться злу и верить, что победа придет. Ничто не могло бы так поддержать людей в те дни в Бухенвальде, как эти слова. Руди организовал из заключенных струнный квартет и добыл с помощью взятки инструменты со склада. В Бухенвальде исполняли произведения Моцарта, Гайдна и Бетховена. Но этого начальство уже не потерпело. Утром третьего мая Руди позвали на вахту. По иронии судьбы, имя оберштурмбанфюрера было Шуберт. Стража, во главе с Шубертом, построилась в два ряда, и, когда Руди в полосатой одежде подвели, словно с почетным караулом, к строю, комендант заорал: "В честь царя иудейского — ружья на караул!". Затаив дыхание, заключенные следили издали за жутким спектаклем. Руди решил было, что почетный караул предназначен для оберштурмбанфюрера, но, почувствовав укол штыка в спину, понял, что от него требуется. Он выпрямился, высоко поднял голову и прошел перед издевательским почетным караулом. Рассказывали, что походка его была почти торжественной.

Ни одна плеть не опустилась на Руди. Его не били. С площади, на которой происходила поверка, в обход лагеря, тянулась дорога в каменоломню. Туда отвели Руди, и оттуда через несколько минут раздался залп.

Когда стемнело, в 22-й блок пришли люди из других блоков помянуть покойного. Заключение, имевшие самый большой стаж концлагерей, не помнили случая, чтобы узники устраивали своему погибшему товарищу такое торжественное поминовение. Четыре человека произнесли траурные речи. В заключение друзья Руди слезли с нар и пропели "Рот фронт". Потом секретарь ячейки, друг Эрнста Толлера¹³⁴, спросил, может ли кто-нибудь прочесть каддиш¹³⁵. Нашелся молодой человек из халуцим Кракова, который сказал, что он может прочесть каддиш, потому что он сирота.

Буря снаружи улеглась, вздохи спящих утихли. В конце длинного прохода показалась тень. Тело качнулось к окну, вот-вот упадет. Лео вскочил, мы вдвоем кинулись к человеку и поддержали его. Открыли окно, чтобы он подышал свежим воздухом.

— Чем вам помочь, господин Талекс? — спросил я.

Талекс был известным литовским коммерсантом и представителем Керен кайемет¹³⁶ в своем городе. Война застала его в Голландии, и шесть лет он провел в концлагере Вестерборк. Когда канадские солдаты освободили лагерь, он был первым узником, которого они увидели. Теперь, через год, следов пережитого, кроме преждевременной седины, не было видно — если говорить о внешности Талекса. Но я опасался за его сердце.

В тот момент его внезапно постаревшее лицо с остановившимся взглядом стало похоже на маску. Губы скривились, наврное — от боли.

— Что я могу сделать для вас? — спросил я.

Талекс посмотрел на меня долгим, пустым взглядом, и я с трудом разобрал:

— Сделать? Сможешь ли ты видеть вместо меня мои сны? Всю ночь я иду за женой и за детьми среди волн. Это так море на меня действует. Когда уже мы оставим этот проклятый континент!

Он задрожал и обвис у нас на руках.

25 октября

Уйти отсюда! Уйти отсюда!

26 октября

Английская армия использует против нелегальных эмигрантов с "Кнессет Исраэль" газ. Проклятие! Как они смеют?! Газ — и против кого? Даже если это не отравляющий газ, а лишь слезоточивый. Господи Боже! Направлять слезоточивый газ на людей, глаза которых еще не просохли от слез! И это — свобода, к которой мы так рвались?

27 октября

Рут, на борту "Кнессет Исраэль" есть девочка, с которой я пытаюсь наладить контакт. Это вопрос жизни...

28 октября

Девочка Лина Финштейн шестнадцати лет записана в группу, назначенную в наш киббуц. Лине было 13 лет, когда немцы заняли Венгрию. Семья из 10-ти человек оказалась в Аушвице, уцелела она одна. Перед самым концом войны еще жива была мать. В одном из лагерей мать украла две моркови с продуктового склада немцев. На глазах дочери ее подвели к виселице; но в самый последний момент казнь заменили поркой. Истерзанные и измученные, поддерживали друг друга мать с дочерью во время марша смерти, пока

немец не сбросил их вниз с насыпи, как узел с тряпьем. Лина очнулась в каком-то сарае, среди умирающих женщин. Одни стонали и звали на помощь, другие молчали, уже ко всему равнодушные. Всего их было двадцать четыре. Девушка не знает, сколько времени она там пролежала, страдая от голода, холода и крыс. Придя в себя, увидела над собой русских солдат, молча смотрящих на нее. Услышала слово "больница" и закричала: "Нет, нет! Не в больницу!"

Военный врач в госпитале не мог понять, почему слово "больница" так испугало девочку. Ее оставили в проживавшей поблизости немецкой семье, приказав заботиться о ней. Когда она спросила о матери, ей ответили, что из сарая вытащили мертвое тело.

И вот теперь, здесь, эту девушку травят слезоточивым газом, чтобы не пустить ее в Эрец-Исраэль. Дорогая Рут, будь ей матерью и сестрой.

30 октября

Записать! Скорее записать эту повесть! Чтобы люди знали не только о том, что случилось, но и о том, что может случиться! В эту ночь на берегу Средиземного моря я вдруг понял, что с помощью этих записей я выражу свое единство с этими людьми, помогу спасти их — от кошмаров прошлого, а нас — от отчуждения от них!

7 число месяца хешван, 1 ноября

Уже несколько дней назад я понял, что пишу не письмо. Но что же? Неужели все, о чем рассказываю, просто перейдет на бумагу, станет книгой, всего лишь еще одной книгой, которую люди прочтут или не прочтут?

2 ноября

Лео вернулся из Дессау. Что делал Лео Арендт

в Дессау? Оказывается, там похоронен его дед. Лео привез поразительный документ. Дед Лео и шесть предыдущих поколений его родных были раввинами. Отец Лео первый изменил семейной традиции. В Дессау, в пустом общинном здании, Лео встретил старика. Тот объяснил ему: если Лео побывает когда-нибудь в Бреслау и если не все там сгорело, то обнаружит следы двенадцати поколений своей семьи.

3 ноября

Та же неведомая сила, которая побудила Лео отправиться на поиски своих корней, привела его на станцию, от которой шла дорога к крематорию. Он остановился в поселке, около дома напротив лагеря. Это был обыкновенный жилой дом из красного кирпича, с калиткой и садом. Окна на первом этаже были закрыты, на втором этаже — открыты, и кружевная занавеска приподнята. Окна выходили прямо на трубу крематория; день и ночь люди видели вырывающийся из нее дым с пламенем. Я спросил, зашел ли он внутрь. Лео покачал головой:

— Нет, я боялся, что не справлюсь с собой.

— Зачем ты вообще туда пошел? — спросил я, — чтобы себя помучить?

И Лео ответил:

— Хези, без этого дома за пределами лагеря мы не поймем и того, что творилось внутри.

4 ноября

Через нашу базу прошла группа партизан. Они действовали в лесах Белоруссии и Литвы. Среди них был мальчик, товарищ Лео Арендта по Сиротскому дому в Динслакене, тоже — Лео. Сейчас его имя (или прозвище) Ленч. Ребята не сразу узнали друг друга. Но когда узнали, то уже больше не расставались. Уже три дня и большую часть ночей они рассказывают друг другу о том,

что с ними произошло, а я только слушаю.

6 ноября

Я не все слышал, что они говорили, а из того, что слышал, не все понял. Неловкое чувство — словно подглядываешь в замочную скважину. Впрочем, они видели, что я сижу у стола (они устроились на постели). Мое присутствие им не мешало. Все равно постороннему их до конца не понять.

7 ноября

Пути друзей разошлись. Лео хочет в Палестину, Ленч — в Америку.

8 ноября

Двора хорошо знала Фрумку. Встречала ее в Варшаве и в Вильно. Рассказала о ее последних днях. После того, как восстание подавили, она попала в Бендзин. Один из подпольщиков специально приехал из Словакии, чтобы спасти ее. Ему удалось пробраться к ней в бункер. Но Фрумка отказалась уйти. Она сказала подпольщику: "Со своим народом я жила, с ним и умру".

9 ноября

Еще о той же встрече с партизанами. Они рассказали о параде победы в Минске. В жизни партизан это был самый торжественный день. Люди обнимались и целовались, пили и плясали на улицах. Ни один отряд не поставил свою палатку на территории разрушенного гетто. Начальник Генерального штаба говорил о страданиях мирных жителей и о мужестве бойцов в тылу врага. Перечислил представителей всех народов, участвовавших в партизанском движении. Но ни слова не сказал ни о еврейских партизанах, ни о ста тысячах погибших в минском гетто. "Поверь мне, — сказал Ленч товарищу, — я чувствую

огромную благодарность и любовь к русским людям, но перебравшись у Граца тайком через границу, я невольно обернулся назад и сплюнул”.

15 ноября

Войдя в Трофайах, я затаил дыханье. Запах, крики, весь вид этого места, все было ужасно. Я замер посреди леса. Порытые снегом горы окружали бывший концлагерь, над входом в который все еще висела вывеска: ”Пуловерфабрик”. Пустые сторожевые вышки. Главный барак был превращен в клуб. Там пели и плясали хору. Увидев мундир Еврейской бригады, на меня воззрились, как на Илью-пророка. Всего здесь собралось полторы тысячи человек из разных стран. Летняя одежда, рваная обувь. И 400 граммов хлеба в день!

— Откуда эта страшная вонь? — спросил я сопровождающего.

— От крематория, — парень показал на дорогу, ведущую на лесную поляну. Меня прошиб холодный пот. Юденбург. Грац. Филлах. Инсбрук. Вельс. Зальцбург. Всю неделю провел я в пути. Ездил через Альпы на север, в разбросанные по Австрии лагеря беженцев. Везде были собрания. Везде ждали от меня доброй вести о близком конце скитаний. Завтра еду в Париж, на конгресс организации ”Бриха”.

17 ноября

Остановились в небольшом старом отеле, выходящем окнами на бульвар Монпарнас. Глава Мосада¹³⁷ М. и ответственный за закупку оружия Ш. К. наскоро перекусили и, не преодевшись, заперлись и занялись своими делами. От нечего делать я решил полюбоваться на сиянье парижских огней.

18 ноября

Прогулка моя оказалась короткой. Но то, что

случилось со мной по дороге, до сих пор стоит перед моими глазами. Уцелевшие в концлагерях приходят в отель "Лютеция" узнать о своих близких. Подойдя к собравшимся у входа, — это были, в основном, женщины, — я увидел мальчика, который бежал за женщиной и кричал: "Мама! Мама!". Закрыв воротником половину лица, женщина поспешно удалялась. Войдя в бистро, она резко обернулась и сказала, не скрывая раздражения: "Я тебе не мама!". Потом скрылась в глубине бистро, а мальчик остался на тротуаре. Он был так растерян, что не сразу заплакал. Увидев у меня на плече знак Маген-Давида, он спросил, не из Палестины ли я. Я пригласил его в кафе. Зовут его Робер, ему лет десять. Его отчим, доктор Штернхейм, был известным врачом в Париже. Когда немцы взяли Париж, Робер был с матерью в Ницце.

Мать была светской женщиной, известной в кругу художников; она совершенно не беспокоилась за себя. Когда переписывали евреев, сама пришла в полицию. Помощник начальника участка в Ницце Лебкен, любитель живописи и поклонник модернистов, "хотя большинство среди них евреи", был крайне удивлен: "Мадам, вы... Это, конечно, ошибка?" — "Я еврейка, месье", — ответила она без страха и без гордости. Через три дня ее выслали в лагерь Гурс. Она взяла с собой меховую шубу, хотя конец лета в Париже был необычайно жарким, духи "Шанель", щеточку для ресниц и губную помаду, положила в квадратный, обитый изнутри бархатом чемоданчик коробку пастельных мелков и записную книжку. Горничная-итальянка потом рассказывала, что мадам слегка сомневалась насчет туфель на каблуках. Все же взяла одну пару — на случай праздника или просто на память. Хотя, скорее всего, не представляла себе, что ее ждет, но на пороге вдруг сказала итальянке: "Слава Богу, что здесь

нет Робера”.

У Робера в тот день был урок музыки на другом конце города. Урок уже кончался, когда позвонили, и учительница оставила его позаниматься лишний час. Она сказала мальчику, что завтра его отвезут в деревню, ”а там фортепиано не будет”.

В последний год войны Робер, надеясь разыскать родных, убежал от своих деревенских благодетелей и самостоятельно добрался до Парижа. Однорукий клошар¹³⁸ по прозвищу Испанец подобрал его, опухшего от голода и холода, и устроил на ночь у себя под Новым мостом. Когда, прошел слух, что немцы взорвут на Сене мосты, клошар отвел Робера в другое убежище — в туннеле метро на станции Пельтье, подальше от мостов. Оттуда Робер выбирался на поиски родных. Испанец по ночам рассказывал ему о Барселоне, Эбро и о героически погибших бойцах Тельмановской бригады, которые так привыкли к войне, что стреляли спросонок. Мальчик не знал, было ли все это на самом деле или Испанец старается развлечь его этими рассказами. От него же Робер узнал, что в лагере Гурс когда-то держали спасшихся из Испании бывших добровольцев интернациональных бригад. ”Но тогда не отправляли оттуда в Польшу”. Потом Испанец исчез, и мальчика подобрала мать знаменитого подпольщика Марсея Реймана.

В отеле ”Лютеция” Робер узнал, что его отчим и брат погибли в Аушвице.

Все три дня в Париже я встречался с Робером, но не смог его уговорить поехать со мной. Все его родные попали в Аушвиц и не вернулись. А он все ходил в отель ”Лютеция”.

В поезде
Снова о мальчике Робере. Он пришел проводить меня на вокзал. Мы долго стояли молча друг против друга, я и мальчик. А потом он сказал:

— Я боюсь забыть их лица.

— Лица близких не забывают, — сказал я, чтобы что-то сказать.

— Я уже несколько раз ошибался. У меня ведь нет фотографий.

21 декабря

Время идет медленно, и, если бы не суббота и не праздники, мы бы его совсем не ощущали. Я должен уговорить Лео рассказать о том, как были спасены евреи Дании. Он был там. Как случилось, что в маленькой Дании все было иначе?

2 января 1947 года

Все говорят сегодня о фильме "Дети райка". Его показали по случаю гражданского нового года. Я видел на глазах у людей слезы.

5 января

Крыся заговорила! Это чудо произошло благодаря Вельвеле. Юный Вельвеле из партизанского отряда заболел желтухой, и его положили к нам в санчасть. Крыся за ним ухаживала, и он рассказал ей свою историю. Жил-был один мальчик, и когда забрали его отца и мать и убили брата, сестру и бабушку, он остался один и пошел в лес, искать своего дядю, который был партизаном. Партизан мальчик не нашел, он нашел коров. Он нанялся помогать пастуху, который потерял на войне ногу. Потом мальчик сам стал пастухом. В том глухом селе никто его не знал, и он там никого не знал. У мальчика было внушающее доверие лицо, и крестьяне поверили тому, что он рассказал о себе. Лето и зиму он проводил с коровами, а потом и сам стал забывать, откуда он и как его зовут. Вернувшись однажды с пастбища, он увидел у своей хибарки солтыса, а с ним — чужого человека в галифе. Глаза незнакомца злобно и беспокойно смотрели из глубоких

глазниц. Он сплюнул косточку сливы и кивнул солтысу. Тот взял мальчика за ухо и сказал:

— Ты нам наврал. Тебя зовут Вовка, ты сын Хаим-Ойзера.

Вельвеле поцеловал старику руку и жалобно ответил:

— Я соврал потому, что хотел жить. Я сирота. Пожалейте меня, господин солтыс.

Тот сказал:

— Сделай вот как. Иди в город и скажи, чтобы тебя застрелили. Все равно ты не доживешь до конца войны, только навредишь другим. Ты ведь не хочешь навредить хорошим людям?

Но когда чужак захотел связать Вельвеле, чтобы отвести его в город и получить от немцев премию, солтыс сказал с укором:

— Подожди несколько дней, пока не найдем ему взамен другого пастуха. Тогда и забирай.

Может быть, он хотел оставить мальчику шанс спастись, а может быть, и вправду так думал. Назавтра Вельвеле вывел, как всегда, коров в луга за холмом. В то утро он почувствовал, что коровы, которых знал по именам, которые, когда гуляли среди клевера и васильков, всегда казались ему такими красивыми, стали ему противны. Он не мог смотреть на их полное молоко вымя. Когда пришло время вернуться, он погнал коров вниз с холма в сторону села, а сам побежал в другую сторону. Много часов бежал Вельвеле, не оглядываясь, по тайным тропинкам. Вечером ему стало страшно. Как спастись? Куда деваться? В десяти километрах от того места, где он перешел реку, горел партизанский костер. Но он не видел ни его пламени, ни сидящих вокруг него партизан во главе с его дядей Шаулем. А те не слышали дыхания мальчика, спрятавшегося в яме.

6 января

Через три дня пришел с востока партизанский

отряд во главе с русским командиром. Партизаны вытащили мальчика из ямы, напоили его и накормили, а командир взял его под свое покровительство. Три месяца стоял их отряд на лесной опушке. Был там поблизости склад снарядов, который советская авиация не успела взорвать при отступлении. Командир отряда научил Вельвеле разбирать снаряды и вынимать из них запал, чтобы у партизан был взрывной материал — подкладывать мины и взрывать немецкие поезда. Командир сказал: "Будешь хорошо выполнять задания, получишь орден за верную службу Родине в Великой Отечественной войне".

И Вельвеле верно нес свою службу. То есть сидел верхом на большом снаряде и, отвинтив головку, осторожно, не позволяя рукам дрожать, вынимал запал и клал рядом на землю. Мальчик приходил на склад с утра, чтобы успеть выполнить норму, и ни разу никого не спросил, почему именно его выбрали для этой работы. Место, где он работал, окружали красные флажки, предупреждая об опасности, возможной в том случае, если он допустит ошибку. (Все это я узнал от Крыси, потому что Вельвеле уже отправился в Ландсберг.) Как-то раз, ударив молотком по отвертке, Вельвеле услышал такой звук, будто тикали часы. Он решил, что по ошибке завел механизм снаряда. Почувствовав, как все в нем замерло, как отяжелели ноги, он закрыл глаза и приготовился к смерти. Еще не открыв глаз, он понял, что стук раздается не изнутри снаряда, а снаружи, и, повернув голову, увидел птицу, стучащую клювом по дереву. Крыся сказала:

— Это был твой Господь.

— Нет, это была птица медонос.

— Но это так похоже на рассказ об Ицхаке!¹³⁹

Вельвеле молча поцеловал ее в лоб, будто ничего не было особенного в том, что Крыся говорит. На следующий день я спросил ее, откуда

она знает о жертвоприношении Ицхака. Она посмотрела на меня долгим, испытующим взглядом. А потом ответила:

— Когда-то я сидела у дедушки на коленях и слышала это от него.

18 января

Перед отъездом Вельвеле научил Крысю песне, которую пели еврейские партизаны. Сейчас эту песню поет весь лагерь, и многие встают, как при пении "Ха-Тиквы".

14 февраля

Завтра погрузимся на пароход. Повезет нас, 1300 человек, огромная посудина — "Хаим Арлозорв"¹⁴⁰. Ареле, капитан, произнес речь, объясняя будущим пассажирам, что возможны осложнения, даже вооруженная стычка. Он несколько раз повторил, что тому, кого это пугает, он предлагает дожидаться легального переезда. Рядом со мной сидел Лео и нервно грыз ногти. Понимая, что он взволнован, я спросил:

— Что случилось?

— Скажи своему приятелю, — ответил он, — что нас не надо предупреждать об опасности. Мы — евреи, которые уже ничего не боятся. Скажи ему. Прости, но, пожалуйста, скажи ему это.

Послушай, мертвая тишина,

Ты — мой народ.

Оглянись, шумная толпа,

Здесь — пожарище.

Кончена эта книга, но и она не полна...

"Больше того, чем я вам сказал, записано здесь" (Мишна, трактат Йома, 7).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Измененная цитата из псалма 136: "При реках Вавилона, там сидели мы и плакали...".

² СС — первоначально военизированные охранные отряды немецких фашистов, в период Второй мировой войны — войска особого назначения, выполнявшие карательные операции.

СА — штурмовые отряды в фашистской Германии.

СД — служба безопасности фашистской Германии.

Гестапо — тайная государственная полиция в нацистской Германии.

Эйнзатцгруппы — специальные подразделения, занимавшиеся массовым уничтожением евреев на оккупированных территориях.

Гитлерюгенд ("гитлеровская молодежь" — нем.) — молодежная фашистская организация в Германии.

³ Ипатингас — особый штурмовой отряд, набранный из числа литовских студентов для борьбы с евреями.

"Железная гвардия" — фашистская организация, возникшая в Румынии в 1931 г., находилась у власти в 1940-41 гг.

Партия Скрещенных стрел — фашистская партия, действовавшая в Венгрии в 1938-45 гг.

Усташи — националистическая сепаратистская организация хорватских фашистов, существовавшая в 1929-45 гг.

Л. Дегрель возглавлял фашистскую партию, существовавшую в Бельгии в 1935—1944 гг.

В. Квислинг (1887—1945) — лидер норвежских фашистов, премьер-министр коллаборационистского правительства Норвегии, жестоко расправлялся с норвежскими патриотами; его имя стало употребляться как нарицательное в значении "предатель".

Иерусалимский муфтий Хадж Амин ал-Хуссейни (1893—1974) — лидер арабских палестинских националистов.

⁴Штраймл — традиционный головной убор ортодоксального еврея.

⁵Хасидский двор — окружение цаддика (духовного руководителя хасидской общины). Хасиды — приверженцы хасидизма — религиозно-мистического народного движения, возникшего среди евреев Украины во второй четверти 18 в. и впоследствии распространившегося по миру.

⁶Вестерборк — концлагерь в Голландии.

Дранси — концлагерь во Франции.

Романеште (рум.) — румынский язык.

⁷В оригинале по-русски.

⁸Шайн — удостоверение личности. В гетто существовали шайны разных цветов. Цвет являлся показателем "полезности" его обладателя, например, желтый шайн получали занятые на производстве. Лица, не имевшие никакого шайна, уничтожались в первую очередь.

⁹"Хорст Вессель" — гимн нацистов. Назван по имени члена нацистского штурмового отряда (СА), который был убит в 1930 г. сутенером проститутки, в которую он влюбился. Фашисты сделали из Хорста Весселя мученика, "жертву красных".

¹⁰"Унтерменш" — "недочеловек"; так фашисты называли неарийцев.

¹¹Юнге (идиш) — молодой, младший.

¹²Штик (идиш) — "штучка"; здесь подразумевается хитрый, подлый человек.

¹³Гроссе (нем.) — большой.

¹⁴"Стальной шлем" — военизированная организация, основанная в Германии в 1918 г. участниками Первой мировой войны; в 1933 г. слилась с гитлеровскими штурмовыми отрядами.

¹⁵Крипо — аббревиатура названия государственной уголовной полиции в гитлеровской Германии.

¹⁶"Хрустальная ночь" — антиеврейский погром, спровоцированный нацистами 9—10 ноября 1938 г. Названа так потому, что во время погрома было разбито множество стекол в синагогах, еврейских учреждениях и домах, где жили евреи.

¹⁷Талес (ивр. — таллит) — молитвенное покрывало.

¹⁸Филактерии (тфиллин) — кожаные коробочки с отрывками из священных книг, которые евреи наклады-

вают на левую руку и на лоб во время утренней молитвы в будни.

¹⁹Халуц (мнж. — халуцим) — активный участник еврейского заселения и освоения Эрец-Исраэль.

²⁰“Смерть евреям!” (букв. “Чтобы ты сдох, еврей!).

²¹Хаззан (кантор) — лицо, ведущее синагогальное богослужение.

²²Теодор Герцль (1860—1904) — основатель политического сионизма, провозвестник еврейского государства, создатель Всемирной сионистской организации. “Альтной-ланд” (в русском переводе — “Страна возрождения”) — роман-утопия, в котором описывается возрождение еврейского государства.

²³“Ун фартик!” (идиш) — “И дело с концом!”

²⁴Ханукка — праздник в память освобождения Иерусалима от греко-сирийских войск (164 г. до н. э.) и освящения Иерусалимского Храма; приходится на ноябрь-декабрь.

Пурим — праздник в память избавления евреев от уничтожения, которое готовил им Амман — первый министр персидского царя (5 в. до н. э.); приходится обычно на март.

²⁵“Алте шул” (идиш) — старая синагога.

²⁶Меламед — учитель в традиционной еврейской начальной школе (хедере).

²⁷Саммаэль — одно из имен Сатаны.

²⁸См. прим. к предисловию.

²⁹“Хазак ве-эмац” (ивр.) — “Будь тверд и мужествен”.

³⁰“Тотэ” и “момэ” — так произносят румынские евреи, в отличие от польских, которые говорят “татэ” и “мамэ”.

³¹Фольксдойч (от нем. слов “фольк” — народ и “дойч” — немец) — так называлось при фашистском режиме лицо, принадлежавшее этнически к немцам, но не являвшееся подданным Рейха.

³²Малый таллит — прямоугольник из шерстяной или хлопчатобумажной ткани, который ортодоксальные евреи носят под одеждой.

³³Цицес (идиш), цицит (ивр.) — кисти, прикрепленные к углам таллита и малого таллита.

³⁴“Ун Гот из а фотер” (идиш) — букв. “И Господь — наш отец”, т.е. “Господь поможет”.

³⁵Ешибот (идиш; иешива — иврит) — высшая еврейская религиозная школа.

³⁶“Шма, Исраэль” (букв. “Слушай, Израиль!”) — первые слова молитвы, в которой утверждается сущность иудейской религии. Эту молитву произносят дважды в день и, кроме того, в моменты крайней опасности, когда речь идет о жизни и смерти.

³⁷“Биккур-холим” — здесь: общество, которое содержала еврейская община для ухода за больными.

³⁸Ицхак Гринбойм (Гринбаум) (1879—1970) — сионистский деятель, журналист, депутат польского сейма (1919—1930). Защищал идею секуляризации еврейской жизни, был лидером радикальной сионистской фракции.

Территориализм — общее название еврейских общественных движений первой половины XX века, стремившихся создать еврейское государство или автономное поселение на любой территории (не обязательно в Эрец-Исраэль).

³⁹Шикса (идиш) — нееврейка.

⁴⁰“Хахшара” (ивр.) — букв. “подготовка”; здесь имеется в виду подготовка, которую проходили члены молодежных сионистских организаций диаспоры, стремившиеся жить в Эрец-Исраэль в киббуцах (сельскохозяйственных поселениях типа коммуны). Курс сельскохозяйственной и военной подготовки также проводился в рамках “пробных” киббуцов, организованных в ряде стран диаспоры.

⁴¹Песах — праздник, увековечивающий память об исходе евреев из Египта (15 в. до н. э.), где они были рабами фараона, и их превращение в свободный народ. Приходится обычно на апрель.

⁴²Иосеф Хаим Бреннер (1881—1921) — еврейский писатель; писал в основном на иврите.

⁴³Хаим Нахман Бялик (1873—1934) — крупнейший еврейский поэт нового времени.

⁴⁴Бер Борохов (1881—1917) — еврейский ученый и общественный деятель, один из видных идеологов и лидеров социалистического сионизма.

⁴⁵“Лех-леха” (ивр.; “Пойди из земли твоей...”) — начало первого стиха двенадцатой главы Книги Бытие, где рассказывается о том, как Бог повелел Аврааму покинуть родину и переселиться в Эрец-Исраэль.

⁴⁶Солтыс (польск.) — староста.

⁴⁷По еврейской традиции во время похорон в знак траура скорбящие близкие родственники надрезают одежду.

⁴⁸Юденрат — еврейский совет в оккупированном немцами городе, местечке или гетто; иногда составлялся из лиц, игравших в прошлом некоторую роль в жизни общины.

⁴⁹Адмор, или цаддик — духовный вождь хасидской общины.

⁵⁰Мицва (мн. ч. — мицвот) — религиозное предписание.

⁵¹“Ночью на старом рынке” — название фантастической драмы Ицхака Лейбуша Переца (1852—1915), одного из крупнейших еврейских писателей Польши.

⁵²“Изкор” — начало и название заукойной молитвы.

⁵³Шейгец (идиш) — молодой парень, нееврей.

⁵⁴“Так поем и танцуем мы, субботние евреи” — цитата из драмы И. Л. Переца “Золотая цепь”.

⁵⁵Иехуда ха-Леви (род. не позднее 1075 — ум. 1141) — крупнейший еврейский поэт Средневековья.

⁵⁶В оригинале часть диалога — по-русски.

⁵⁷Измененная цитата из Псалма 8 (стих 3).

⁵⁸Не путать с употреблением этого слова в русском воровском аргю, где оно означает “место сборищ уголовников”, “притон”.

⁵⁹Агуна (ивр.) — замужняя женщина, по какой-либо причине разъединенная с мужем и не имеющая права вторично выйти замуж — либо потому, что неизвестно, жив ли ее муж, либо потому, что он не дает ей развода.

⁶⁰Согласно Священному писанию, увидеть радугу в небе — это благоприятный знак. См.: “Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением завета между Мною и между землею” (Бытие, 9:13).

⁶¹Голем (ивр.) — букв. “неоформленное тело”, “болван”.

⁶²Миньян (ивр.) — десять взрослых мужчин, кворум, необходимый для публичного богослужения и ряда религиозных церемоний.

⁶³Подставить горло под нож — нет! Никогда! (идиш).

⁶⁴Шимон (Семен) Дубнов (1860—1941) — еврейский историк, публицист и общественный деятель. Отвергал сионизм и противопоставлял ему концепцию автономизма

— образования еврейских национально-культурных объединений в странах диаспоры.

⁶⁵Лео Бек (1873—1956) — немецкий раввин и религиозный мыслитель, лидер реформизма в иудаизме.

⁶⁶Намек на цитату из трагедии Шекспира "Юлий Цезарь": "А Брут — достойный человек!" (В трагедии эти слова произносятся с иронией; убийца и предатель Брут осуждается).

⁶⁷Бар-мицва (ивр.) — букв. "сын заповеди"; обряд, который совершают по достижении еврейским мальчиком тринадцатилетнего возраста; с этого момента мальчик считается взрослым, т.е. несет ответственность за свои поступки и может исполнять все религиозные заповеди.

⁶⁸"С одной стороны — суббота,
С другой стороны — будни,
А рабби едет среди них". (Идиш)

⁶⁹Шива (ивр.) — букв. "семь"; семидневный траур по умершему близкому родственнику.

⁷⁰Парафраз библейского рассказа об Аврааме (Бытие, 12:1).

⁷¹Шаббат-хаззон — суббота, предшествующая дню 9 ава, трагической для евреев даты. В этот день были разрушены Первый и Второй храмы.

⁷²Эпикорус (ивр., от имени греческого философа Эпикура) — атеист, еретик. (В тексте слово приводится в идишском звучании.)

⁷³Митнагдим — противники хасидизма.

⁷⁴Здесь Рахель-Лея перефразирует одну из пасхальных песен.

⁷⁵"Дрор" — молодежное движение сионистов-социалистов, созданное в России до Первой мировой войны. После Октябрьской революции центр движения переместился в Польшу.

Бетар (аббр. от "Брит Иосеф Трумпельдор" — "Союз Иосифа Трумпельдора") — радикальная молодежная организация Союза сионистов-ревизионистов, созданная в Риге в 1923 г.

Бунд (букв. "союз", идиш) — еврейская социалистическая партия в России, позже в Польше; основана на нелегальном съезде в Вильне в 1897 г.

Мусарники (от ивр. "мусар" — мораль) — участники движения "Мусар", возникшего среди литовских евреев

в середине 19 в. и ставившего своей целью строго нравственное религиозное воспитание личности.

Поалей-Цион (Рабочие Сиона) — движение социалистов-сионистов, основанное в России в начале 20 в.

Общие сионисты — члены Всемирного сионистского конгресса, не примкнувшие к социалистам, ревизионистам или религиозным партиям.

⁷⁶Карлин и Белз — крупнейшие хасидские центры Польши. После Второй мировой войны оба эти пункта оказались за пределами Польши, первый — в Литовской ССР, второй — в Украинской ССР.

⁷⁷Ицхак Лурия (1536—1572) — создатель одного из основных течений каббалы (эзотерического теософского учения с элементами мистики и магии) и религиозный поэт.

Залман Элияху бен-Шломо (1720—1797), прозванный "Виленский гаон" (т. е. гений) — крупнейший религиозный деятель и духовный вождь еврейства.

⁷⁸"Хайнт" и "Фрайнд" — газеты на идише, выходившие в Варшаве и Петербурге в начале 20 в.

⁷⁹"Их вил ахейм!" (идиш) — "Я хочу домой!"

⁸⁰Элул — двенадцатый месяц еврейского года, соответствует сентябрю-октябрю.

⁸¹Залман Шнеур (1886—1959) — поэт и писатель, писал на идише и иврите. "Звуки мандолины" — его известная поэма.

⁸²Цитата из Книги Бытие (1:8).

⁸³Измененная цитата из Книги Плач Иеремии (1:1).

⁸⁴Аушвиц (Освенцим) — самый крупный из лагерей уничтожения, созданных фашистами. Первая часть лагеря, впоследствии именовавшаяся "Аушвиц I", начала действовать в 1940 г. В 1941 г. к ней был присоединен лагерь Аушвиц II, или Биркенау (Бжезинка), где первоначально размещались советские военнопленные; с марта 1942 г. большинство заключенных этого лагеря составляли евреи.

⁸⁵"Скудный хлеб" — цитата из пасхальной агады (сказания), где так называется маца, поскольку ее изготавливали из простой муки безо всяких добавок.

⁸⁶Лулав — пальмовая ветвь, один из "четырёх видов" флоры, являющихся необходимой принадлежностью утренней литургии в дни Суккот.

⁸⁷Хахам (ивр.) — мудрец. В восточных общинах так обращаются к раввину.

⁸⁸Эль Нонно (итал.) — дед.

⁸⁹“Мать еврейских городов” — так называл Салоники поэт XVI века Шмуэль Ускве.

⁹⁰Ладино (или еврейско-испанский) — разговорный и литературный язык евреев испанского происхождения, поселившихся в Греции, Югославии, Болгарии и Румынии.

Талмуд-тора — еврейская религиозная школа.

Альянс — сокращенное название Всемирного еврейского союза, первой современной еврейской международной организации, созданной в 1860 г. в Париже для оказания помощи евреям во всем мире, впоследствии ее деятельность сосредоточилась, главным образом, в области образования.

⁹¹См. Книгу пророка Иехезкеля, 16:6.

⁹²Мункич — старое название города Мукачево.

⁹³Поддельные филактерии — изготовление предметов культа связано со строгим соблюдением определенных правил, иначе эти предметы не считаются настоящими.

⁹⁴“Канада” — так называли в лагерях склад с вещами заключенных, отправленных в газовые камеры.

⁹⁵“Химмельштрассе” (нем.) — букв. “дорога на небо”. “Погнали на Химмельштрассе” — говорили в лагере о тех, кого отправляли на смерть.

⁹⁶Ш. Э. Хальберштам (1866—1944), рабби из Рацферда (старое название венгерского города Уйферто) — хасидский цаддик.

⁹⁷Рама (или Рэма) — аббр. имени рабби Моше бен Исраэля Иссерлеса, выдающегося знатока Торы (1525/30—1572).

⁹⁸Ицхак Иешаяху Хальберштам (ум. 1943) — рабби из Чехоева.

⁹⁹Капо — надзиратель над группой заключенных в лагере, обычно на должность капо назначали уголовников, иногда — кого-либо из заключенных-евреев.

¹⁰⁰“Кол Нидре” (букв. “Все обеты”) — провозглашение отказа от обетов, зарок и клятв, которое произносится в начале литургии Судного дня.

¹⁰¹Умшлагплац (нем.) — площадь в Варшаве, с которой евреев увозили в лагерь уничтожения.

¹⁰²Слихот (мн. ч. от ивр. “слиха” — “прощение”) —

молитва о прощении грехов и Божественном заступничестве, которую произносят в дни постов и в течение Десяти дней покаяния, предшествующих Судному дню.

¹⁰³Моше Давид (Умберто) Кассуто (1883—1951) — профессор университетов Флоренции, Рима и Иерусалима, специалист по еврейской истории, религии и литературе.

¹⁰⁴“Пикуха нефеш” — понятие в иудаизме, означающее право нарушить религиозное установление ради спасения жизни.

¹⁰⁵См. Книгу Исаяи, гл. I.

¹⁰⁶Меир бен-Барух из Ротенбурга — знаменитый кодификатор и литургический поэт, величайший авторитет немецкого еврейства XIII века.

¹⁰⁷Вальтер Биньямин (1892—1940), Эрнст Вайс (1884—1940), Вальтер Хазенклавер (1890—1940), Карл Эйнштейн (1885—1940) — евреи, деятели немецкой культуры.

¹⁰⁸Герман Коген (1842—1918) — крупнейший немецкий философ еврейского происхождения.

¹⁰⁹“Здравствуйте, дорогой доктор!” (франц.).

¹¹⁰На воротах Аушвица висел лозунг “Труд освобождает”.

¹¹¹Й. Менгеле (1911—?) — нацистский преступник, врач Аушвица, проводивший бесчеловечные медицинские эксперименты над заключенными, преимущественно над евреями.

¹¹²“Мы здесь!” — рефрен гимна еврейских партизан.

¹¹³“Дитя мое, ты уже одна!” (идиш).

¹¹⁴Исраэль Салантер (1810—1883) — известный моралист и проповедник, основатель религиозно-этического учения “Мусар”.

¹¹⁵Гебитскомиссар — руководитель нацистской администрации на оккупированной территории.

¹¹⁶“Евреи, спасайтесь!” (идиш).

¹¹⁷Штурмбанфюрер — майор СС.

¹¹⁸Штелле — здесь: группа, бригада.

¹¹⁹Девятый форт старой Каунасской крепости, расположенной неподалеку от города, был превращен фашистами в лагерь смерти, где проводились массовые расстрелы евреев.

¹²⁰Амман (Гаман) — первый министр при дворе персидского царя Ахашвероша, гонитель евреев (см. библейскую Книгу Эсфири).

¹²¹“Шмальцовники” — доносчики из жителей оккупированных районов, выдававшие немцам за вознаграждение евреев и партизан.

¹²²Обершарфюрер — старший лейтенант СС.

¹²³“Эйха”, или Плач Иеремии, читают Девятого ава, в день разрушения Первого и Второго храмов.

¹²⁴Цитата из Книги Исход 14:22.

¹²⁵Еврейская бригада — еврейская воинская часть, воевавшая в составе британской армии в годы Второй мировой войны; в нее входили евреи-добровольцы из Палестины.

¹²⁶См. примечание к “Предисловию”.

¹²⁷Тель-Хай — еврейское поселение в Верхней Галилее, неоднократно подвергалось нападениям арабов; во время одного из них, произошедшего 1 марта (11 адара) 1920 г., погибло несколько защитников поселения, в том числе выдающийся деятель сионистского движения Иосеф Трумпельдор (1880—1920).

¹²⁸У Эль-Аламейна (Египет) в октябре 1942 г. немецкие войска маршала Роммеля были разбиты англичанами.

¹²⁹Палмах (аббр. от “плугот мацах” — “ударные отряды”) — добровольческие регулярные подразделения еврейской боевой подпольной организации Хагана, действовавшие в подмандатной Палестине в 1941—48 гг.

¹³⁰“Эль мале рехамим” (ивр.) — “Всемилоостивый Господь” — начальные слова заупокойной молитвы.

¹³¹М. Элькинд — один из руководителей первой сельскохозяйственной коммуны еврейских рабочих в Палестине, основанной в 1920 г. В 1927 г. Элькинд и его группа уехали в СССР, где впоследствии погибли в советских лагерях.

¹³²Макй — французские партизаны, участники движения Сопротивления, боровшиеся с фашистами во время Второй мировой войны.

¹³³Лаг ба-Омер — праздник, связанный с освобождением Иерусалима еврейскими воинами во время восстания Бар-Кохбы (132—135 гг. н. э.) против власти Рима; во время этого праздника дети и молодежь зажигают костры и веселятся вокруг них.

¹³⁴Эрнст Толлер (1893—1939) — немецкий писатель, придерживавшийся левых взглядов; в 1919 г. входил в

правительство Баварской советской республики.

¹³⁵Каддиш — славословие Богу, читаемое в ходе литургии, а также на похоронах.

¹³⁶Керен каемет ле-Исразль (Еврейский национальный фонд) — фонд сионистского движения, созданный для приобретения и освоения земли в Эрец-Исразль. Основан 29 декабря 1901 г. на Пятом сионистском конгрессе в Базеле.

¹³⁷Мосад ле-Алия Бет — организация, занимавшаяся нелегальной иммиграцией евреев в подмандатную Палестину в 1944—1948 гг.

¹³⁸Клошар (фр.) — бездомный нищий, бродяга.

¹³⁹Имеется в виду библейский рассказ о том, как Авраам собирался принести в жертву Богу своего сына Ицхака, но мальчик был спасен ангелом (Бытие, 22).

¹⁴⁰Пароход назван по имени одного из руководителей сионистского рабочего движения Хаима Арлозорова (1899—1933).

КНИГИ ИЗД-ВА „БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ”

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917 - 1967)
25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов.
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ

32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:
И. Кауфман. Библейская эпоха
Л. Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь
Ш. Эттингер. Корни современного антисемитизма
67. А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ

68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей-репатриантов из СССР
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х. Н. Балик и И. Х. Равицкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ:
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД — ИЕРУСАЛИМ С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА „ЭКСОДУС-1947“
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ

103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов современных израильских писателей
118. Владимир (Зев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. Воспоминания
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даан. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА — РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
134. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...

136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие.
Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие.
Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М. Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскис. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И. Ахарони, Б. Рутенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ
И БУНТАРЕЙ
149. И. Гутман, Х. Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О'Брайен. ОСАДА
156. И. Башевис-Зингер. Сборник рассказов
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й. Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Яэль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ
И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. Самп Михазль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ
10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...

11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И. Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов
и сказок для детей
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н. Гутман и Э. Бен-Эзер. МЕЖДУ ПЕСКАМИ И
НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Книга 1
18. АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Книга 2

עיריית חיפה
 מערכת הספרות הפנאי
 מרכז תחנות לעולים
 בית אדשטיין - ספריה
 מס. מלאי

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
 ИЗДАТЕЛЬСТВА
 „БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ”
 ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
 РУССКОЙ КНИГИ**

**Наши книги можно заказать
 также по адресу:
 P.O.B. 4140
 91041 Jerusalem
 Israel**

